ПАВЛА ТЕТЮКОВА / СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ



ПАВЛА ТЕТЮКОВА

# СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ

## (Дорога к счастью)



ИЗДАНИЕ АВТОРА

НЬЮ-ЙОРК 1957

ПАВЛА ТЕТЮКОВА

# СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ

## (Дорога к счастью)

И З Д А Н И Е   А В Т О Р А

НЬЮ-ЙОРК 1957

# ОГЛАВЛЕНИЕ

*Стр.*

Предисловие автора . . . . . . . . . . . . . . 3
Нимфа Эгерия . . . . . . . . . . . . . . 5
Художник . . . . . . . . . . . . . . . 16
Профессор . . . . . . . . . . . . . . . 26
Река . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Старушка . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Осени мертвой цветы запоздалые . . . . . . . . 55
Секретарша . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ея первая брачная ночь . . . . . . . . . . 70
В Пятницу на Страстной . . . . . . . . . . 78
Сибиряки . . . . . . . . . . . . . . . 84
Помнишь ли? . . . . . . . . . . . . . . 90
Чужое письмо . . . . . . . . . . . . . . 92
Отрывок из повести «В Горах Кавказа» . . . . . . 96

КАРТИНКИ С НАТУРЫ:

Утро в селе «Жихарево» . . . . . . . . . . 103
Маленькое происшествие . . . . . . . . . . 107
Родныя гнезда . . . . . . . . . . . . . 111
Угловое кафэ . . . . . . . . . . . . . 112
Снег... Снег... Снег... . . . . . . . . . . 114
Разговор по телефону . . . . . . . . . . . 116
Масленица . . . . . . . . . . . . . . 119
Крик . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Забытыя слова . . . . . . . . . . . . . 126



Павла Тетмарова

## *ПРЕДИСЛОВИЕ.*

*Недавно один крупный журналист написал, что издать книгу у нас в Зарубежьи на свой счет, — это подвиг. Я горжусь.*

*7-го сентября 1955 г. была выпущена в свет моя первая книга «По путям и дорогам». Много труда и денег она стоила мне. Но я видела необходимость дать людям, забывшим или никогда не видевшим своей Родины России, образ прежней старой России. Пусть дети знают о Ней правду. Пусть забывшие Ее, в чьей памяти потускнел Ея образ и тех людей, которые жили тогда в России, вспомнят Ее настоящую.*

*Я в моих книгах хочу воскресить старую Россию до 17-го года. Гордую. Смелую. Защитницу угнетенных. Тихую, смиренную, религиозную, чистую в помыслах и поступках. Пусть дети знают о Ней правду и гордятся Ею.*

*Россия милостивая, могучая, справедливая, — вот о такой пишу я и молю Господа из детей наших сделать Ея защитников, создателей настоящей России, на которую с упованием будут смотреть слабые, как на защитницу, и с опаской, сильные.*

*Все герои моей книги делали свое маленькое дело, тихо, с перевальцем, а Россия жила и жила радостная и спокойная, как теплый летний день. Была семья и уют.*

*Прошел год с выхода моей первой книги «По путям и дорогам». Резонанс получился неожиданный. Книга распродалась почти вся целиком. И редкий читатель моей книги не написал мне отклика благодарности, поощрения. Внимательный разбор дали крупные писатели и все они просили продолжать писать о России.*

*А одна большая русская газета даже написала в своем отзыве о моей книге, что я апологет старой России. Это не совсем точно, скорее я певец Ея.*

*Я исполняю желание моих читателей и даю им вторую книгу «Серебряная нить» в 1956 году. Дам и в 1957 и 58.*

*Для женщины это подвиг не малый и думаю читатели оценят его.*

*Автор.*

# НИМФА ЭГЕРИЯ

— Не понимаю, Николай Хрисанфович, почему ты не идешь по выборам? Это так почтенно, прилично. Часть года жили бы в деревне, в имении, а часть в городе. Какие балы, концерты, много новых лиц, знакомств... И мы тоже не лыком шиты! Твой род идет чуть не от Рюриковичей, а ты сидишь квашня квашней и ни с места...

Когда обращение к супругу начиналось с имени и отчества, дело пахло серьезными последствиями и отделаться деловыми соображениями, как бы вспомнив что то не отложное, было не возможно. Обычно он прерывал ея красноречие, — ах, у меня там улей открыт, пчелы разлетятся, — или — ну вот, опять Машка, залезла в горох, весь плетень рогами сокрушила. Словно у меня одного глаза, никто, будто и не видит. Что бы пойти, прогнать корову! — притворно возмущался он, радуясь возможности удрать. Или, — Батюшки, совсем забыл послать Акима за тетушкой, Аглаей Васильевной, а обещал прислать до обеда. Распорядись милая, приготовить зеленыя щи с ватрушками и голубцы...

Тетушка была стара и богата, и в этом вопросе царило полное согласие супругов, — быть внимательными к тетушке.

Изобретательность причин уклониться от неприятных разговоров, у Николая Хрисанфовича росла и утончалась по мере возрастания напора супруги. Если разговор начинался с «Николя», то потушить разгорающийся костер было возможно, — но если выступал, холодно вежливым тоном, — Николай Хрисанфович, — то...

— Голубушка ты моя, живем мы с тобой припеваючи, как в раю. Всего у нас в изобилии, приезжают гости, мы считаемся хлебосолами, все нас уважают (это был бальзам на тщеславное сердце Галины Андреевны). — Он выдержал паузу, искоса посмотрев на начавшее проясняться лицо супруги. — Не мы идем на поклон, к нам идут с радостью. Такой хозяйки, как ты во всей губернии не найдешь.

Казалось и на сей раз разговор уйдет в сторону, без неприятного для Николая Хрисанфовича продолжения. Как вдруг на лоб супруги набежала тучка.

— А ты заметил, как в последний вечер, замодничала и занеслась Варенька Кобзева?! А все потому, что муж пошел по выборам.

— Ну, Варенька всегда была очень элегантная дама, знающая себе цену...

— Еще бы! шляпки от Хлебниковой выписывает, платья от Ламоновой. Да еще и парижския привозит, — не как мы, всю жизнь пчелы да коровы...

— и Варенька и муж образованые люди. Она институтка, он был гвардейский офицер. Говорят по французски, по немецки, вот и едут заграницу, а вовсе не потому, что он пошел по выборам. Будет наверно предводителем дворянства. А если мы с тобой поедем, то и будем там, как «наши заграницей», высмеянные Лейкиным. Всяк сверчок, золото мое, знай свой шесток. Я с 17-ти лет принял от родителя разоренное имение и создал из него рай. Ко мне приезжают учиться соседи. Таких Холмогорских коров как у меня, вырастить никто не умеет. Таких Иоркширов с тупыми пятачками, в округе нет. Таких пчел...

— Ну, пошел, поехал. Ну и сиди со своим свиньями, а я хочу, что бы ты пошел по выборам и баллотировался. Варенька нос дерет... В прихожей стоит жеребенок и все шляпы на него вешают, я к ней заезжала с визитом, так и шарахнулась...

— На жеребенка вешают шляпы, — недоумевающе повторил Николай Хрисанфович и опасливо посмотрел на супругу.

— Ну да, шляпы, чего ты на меня уставился. И мальчишка их верхом на нем ездит. Ну прямо двух-годовалый жеребенок! Верно околел, шкуру то сняли и сделали чучело. Ну как живой! А внизу, в пол-дуги подставки. Он и качается, будто скачет. Зеленый ковер, как трава и глазища глядят на тебя, — ну живой и живой!

— Да, Варенька затейница большая, образованая, а вот пошла за мужем в деревню жить.

— Ну, не в деревню, а в город. Хоть уездный, а все же город и большой город. И общество.

Общество было разношерстное. Библиотекарь, акушерка, учитель (в прошлом) помощник библиотекаря, двое мужчин, гуляющих с пледом на плечах в холодную погоду, двое, трое без пледа, но с поднятыми воротниками, — все это были политические, пишущие что то, куда то. Эти держались своей кучкой. К ним примыкал по «идеям», как говорил он, Ефим Петрович, помощник лесничего. Веснущатый, славный парень. Хорошо играл на гитаре, тут бы ему и задержаться, но, то ли пленившись прелестями акушерки, то ли позави-

довав репутации библиотекаря, «ссыльный, поднадзорный», он примкнул к ним и вечерами иногда, слушал непонятныя ему слова, споры, имена, сладко поглядывая на пышную грудь акушерки, сквозящую через соблазнительный волансьен. Для полной победы над сердцами, акушерка часто произносила загадочно фразу, — мон вэр не па гран, ме же буа плейн де мон вэрр, — поэтому за ней упрочилась слава, — акушерка прекрасно говорит по французски. (Mon verre n'est pas grand, mais je bois pleine de mon verre).

Тон держала артистка (в прошлом), а в настоящем жена известного присяжного поверенного, скупившего за безценок огромное прекрасное имение своего клиента, растратившего на карты и женщин все состояние, и уехавшего куда то, на хлеба к родственникам. Умная, здорово потертая жизнью, неудачами, конкуренцией на сцене, где борятся жестоко молодость, красота и талант. Один из сезонов она работала в Могилеве. Труппа разсыпалась не успевши разцвесть и она осталась без ангажемента. Думая найти вернее всего ангажемент в Петербурге, она приехала, поселилась в дешевеньких номерах и как артистка добывала даром билет в Александринку. Прожила так месяцев 5-6. Ангажемент не наклевывался. За эти 5-6 месяцев Аврелия Львовна посещала ежедневно Александринку и жадно вслушивалась и всматривалась в игру Марии Гавриловны Савиной. Изучала говорок — ленивый, слегка отдающий в нос, и особенно старалась уловить ея жесты. Удачно имитировала «Последняя жертва», «Пустоцвет», «Тетенька». Наконец желанный ангажемент пришел. В ладно сколоченной труппе, в Кишиневе, Аврелия Львовна была на амплуа «гран кокет» (grande coquette).

Вся труппа была чрезвычайно заинтересована, заметив, что в первом ряду сидит постоянный зритель, словно абонировав себе кресло. Стали разузнавать, — оказалось, приезжий присяжный поверенный. Защищает крупное дело.

Подмечали, узнавали, ради кого он ходит каждый вечер, Аврелии или Жужу — инженю, намечены им? Но ни цветов, ни ужинов, ни троек, на что расчитывали артисты, — не было. Пробыв по делам месяца два, он уехал.

Анонсы известили, что Аврелия выбыла из труппы. Видя, что и те средние успехи, какие давала ей сцена, угасают, усталость, борьба за выигрышную роль, заставили ее сделать последнее сценическое усилие, разыграть безумно влюбленную в очень пожилого, незначительного вида человека. И лицо, присяжного поверенного, щеки багрово красные, словно в сыпи, и седые редкие волосы, с отпущенной длинной прядью, для покрытия лысины, и длинный нос, с загогулиной и расшлепанныя губы не охладили ея пыла, — на

другой чаше весов — имение, покой, положение первой дамы. Это чего нибудь да стоит...

Он, тяжким трудом, завоевавший шутливое название «Наш Корабчевский», «Наш Златоуст», увы ей поверил.

Играла она свою роль хорошо. Обвенчались. Он любил свое имение, часто бывал там. Она царила в городе.

Аврелия Львовна устроила чудесно квартиру. Эфектно поставила кресло, на которое рефлектор из угла бросал нужныя тени и свет на ея артистически загримированное лицо. Сидя на этом кресле она неподвижно, изменяя лишь заученные позы, принимала гостей. Она была эфектна и выглядела лет на десять моложе действительности. Около нея всегда увивалось несколько юнцов, неопределенных занятий, юные помощники мужа, один, два офицера.

Она была счастлива. Постоянно устраивались любительские спектакли и м.б. действительно, благодаря ея любви к сцене, город оживлялся частыми концертами, спектаклями, маскарадами.

Играли с ней не особенно охотно. Она была безразлична к ансамблю, только бы отчеканить свою роль, встать на выигрышную позицию, а остальные любители, простой хоть все три акта спиной к зрителю, какое ей дело, и она вечно искала партнеров.

Было одно черное пятно в ея жизни. Леночка, восемнадцатилетня дочь от первой жены адвоката...

Николай Хрисанфович ходил как потерянный. Он понимал, что супруга закусила удила и никакие убеждения не помогут. Или город, или жизнь в деревне, превращенная в ад.

А осень, как нарочно наступала во всей красе, — все рдяно золотело, клубилось тысячами красок, красное, коричневое, богровое, сизое, переливалось, как перламутр. От тихого ветерка билась тонкая паутинка, задевая проходящих, тянулась долго, не обрываясь. Осенние лучи солнца щедро поливали сад и он сиял в своем царственном пурпуре и золоте. Пахло мятой, одуряли пышные настурции, терпко пахли астры и маки. Яблони, груши, дули, гнулись и ломились от обилия плодов. Сотнями валялись на земле. Никто не отдавал четких приказаний и прислуга слыша нерешительные (пожалуй, пора уж и яблоки снимать) сама ничего не предпринимала.

А Николай Хрисанфович растерянно шагал от конюшни, где подолгу стоял перед каждым конем, любовался, ласкал, мягкою рукой хлопал по хрупу, чесал под челкой, тяжко вздыхал и шел к пчельнику. Не покрываясь сеткою, он ходил между ульями, прислушиваясь к пчелиному жужжа-

нию над самым ухом. Всюду он был хозяин, был друг, нежный и заботливый.

А теперь все бросить на чужия руки. Самому торчать в городе, сидеть вечера за картами, в душной комнате, на балах, вечерах, где не знаешь куда себя деть, и опять та же карточная комната...

— Фу, чорт! Ну настой на своем, сделай, как хочешь ты, по своему. Отстой то, что ты любишь, что тебе дорого.

И вспомнилось ему, как однажды осенью, он из имения приехал по делам недели на две, три в город. Пришлось пробыть дольше, чем он думал и иметь дело со стряпчим. И вот он был приглашен в семью этого маленького чиновника, «откушать чайку». Так тот и сказал, — «не погнушайтесь, сделайте милость, откушать у нас чайку».

Николай Хрисанфовичу показалось неудобным отказаться и обидеть человека...

Он пошел. Дочка, славная барышня, смиренная, тихая, сидела и смотрела на него, не сводя глаз. А глаза синие, как васильки, упорно впивались, покорные, безответные. Вот я, вся тут в этом взгляде на тебя. И так при каждом его визите. Она почти всегда молчала, слушая Николай Хрисанфовича, не отнимая глаз от его лица. Ему сначало было не по себе, неловко. Потом привык, и стало скучно без этих покорно-влюбленных, синих глаз. Он вернулся в деревню, пробыв там недолго, вернулся в город. Возвращался несколько раз, придумывая разные предлоги. Уезжая в последний раз он оставил лошадь с санями на постоялом дворе и приказал кучеру подавать лошадь к домику чиновника, когда барышня пожелает кататься.

В новогоднюю ночь, Николай Хрисанфович собирался уже ложиться спать, как послышался звон бубенчиков и в комнату распахнулась балконная дверь. — С клубами морозной пыли, вошла она, с синими покорными глазами.

— Я за вами. У нас гости и папа послал за вами Степана. Приехала и я с ним... В эту ночь они приехали к чиновнику уже женихом и невестой.

Да, прищелкнул он языком. Не так склалося, как гадалося. Вот и тяни ярмо.

Руки за спину. Крепко сжаты, пальцы нервно перебирают, то ли настоящее, то ли прошедшее...

Он опустился на скамью под дубом, посаженным его прадедом и задумался. Жил он в имении один. Привык к тишине в доме, к тихому шелесту шагов старого камердинера, чуть слышной старой экономке, к звуку старых клавесин, на которых осенними вечерами он играл Баха, Моцарта, Бетховена. Вспоминал мать, ея тонкие руки на этих пожелтевших

клавишах. И он студент, с любовью глядевший, как мечутся ея длинные сильные пальцы по послушным клавишам. Потом появилась мечта, привести в этот тихий дом, безмолвную девушку, не отрывно глядевшую на него, словно на небожителя, упавшего на землю, как на нечто редкое, чрезвычайное, достойное созерцания, восторга и изумления...

Кто то говорит, в какой то пьесе, что начни самой неинтересной женщине говорить, что она красива и она поверит и полюбит. Очевидно и мужчины грешат той же доверчивостью. И он привез ее в свой тихий, старый дом. С утроенной энергией, возился он на пчельнике, скакал по полям, где полным ходом шла уборка хлеба, восхищался новорожденными жеребятами и, вернувшись домой, овеянный запахом сосны и полей заставал ее еще в постели, розовую от сна, в папильотках, обнимал, целовал.

Он относил ее на руках в столовую, они пили утренний чай, старуха кухарка каждое утро пекла им свежий кулич, по старой традиции, заведенной его матерью и молодая жена молча уплетала огромные порции великолепного кулича.

Он говорил без умолку о своих планах, а она крепкими зубами грызла поджаренный миндаль, смотрела на него, слушала и молчала...

Как то за завтраком были гости и он гордо рассказывал, как у него все спорится в руках, все удается и все потому, что ОНА тут около него.

Приятель, большой шутник обратился к ней и сказал, —

— Словом вы, Галина Андреевна, Нимфа Эгерия...

При этом воспоминании Николай Хрисанфович горько усмехнулся.

Был пасмурный вечер. Он зажег люстру в своем кабинете и увидел, что портреты его предков исчезли со стен, а вместо них появились на стене приложения к «Ниве» Маковского и какой то странный лубок, типа, что продают книгоноши. Он со свечей подошел, внимательно посмотрел. А вот и портрет Нимфы Эгерии. Какой то доморощенный художник, м.б. ея поклонник, изобразил ее во всей красе. Посадил ее под дерево неизвестной породы, сучок с розовыми цветком касался ея шляпки. Она сидела, по мнению художника, но фигура ее выглядела карлицей, стоящей у скамейки. Была смешна и жалка. И подпись «на вечную память».

Вот так произведение, с улыбкой подумал он. Но где же портреты родных?

Утром он спросил ее, осторожно.

— Я приказала эту рухлядь отнести наверх.

То есть на чердак, подумал он. Но ничего не сказал, не желая портить ясное утро.

Он хотел детей, пусть бы бегали, резвились.

— Дети! — ни за что! Пеленки, шум, драки, возня с ними...

Он в первый раз заметил, какой у нее противный визгливый голос, как только она переходит от обычного полушопота...

Мало по малу старина исчезла. Тетушкины баульчики, этажерки заменились модерными пуфами, козетками. Клавесины, — Шредеровским роялем. Пожелтевшие листы Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, заменили вальсы, «На сопках Манджурии», «Киска» и др... Жизнь менялась и он не протестовал. Но перестал играть на рояле.

Однажды придя на кухню, Галина Андреевна увидела, что Устинья стоит на одной ноге, поджав другую, как аист.

— Ты чего ж так стоишь?

— Ревматизм, так легче, то на одной, то на другой постоишь, смотришь и дело сделано.

Ненадежна, подумала Галина Андреевна. И через дня два на кухне появилась помощница, разбитная, здоровенная баба, то и дело заигрывающая с кухонным мужиком, горластая, дерзкая.

Устинья не стерпела на барской кухне «кабака», и запросилась к сестре в деревню, на побывку. С грустью отпустил барин старуху, прожившую в доме 42 года, помнящую все традиции и привычки господ. Погладила Устинья, матерински, седеющую голову своего барина-питомца, прижалась морщинистой щекой к его щеке и заплакала. Вздохнула, отодвинула его голову, глянула в глаза, —

— болезный ты мой, думала кончу дни мои около тебя. Ну судьба судила иначе, храни тебя Господь, и прихрамывая пошла к бричке.

Было раннее утро. Кричали петухи, кудахтали куры, копаясь в траве, сытый кот потягивался, щуря глаза на солнце. С родимого двора уезжала старуха, а барин смотрел вслед и глаза его были полны печали.

Уходило с ней его прошлое. Тихое, безмятежное...

Тоскливым осенним вечером, он предложил — Не хочешь ли, я тебе почитаю. Она согласилась.

Он взял томик Островского. «Бедность не порок» прочел он.

— А конечно, не порок, — оживленно подтвердила она. Он прочел ей 12 книжек Островского. Больше всего понравилось ей «Бедность не порок». Она жалела невесту и Митю. Понравился обряд венчания, песни и она стала читать сама.

Жадно. Она впитывала содержание книг, но видимого следа на ней они не оставляли. Она оставалась нетронутой

целиной. Она перечитала Чехова, особенно пьесы. О Горьком сказала, — «этого и у самих много», — неопределенно.

Перемалывая, как жерновом, все эти тяжелые мысли и воспоминания, вошел он на веранду, в дверь, в которую тогда, в канун Нового Года, вошла она, — ЕГО СУДЬБА.

Вошел в спальню и увидел жену укладывающую вещи в коробки.

— А это ты, Николя! А я приказала запрячь в корень Сераго, в пристяжки, Вороных, Мойра и Фетишь. Хорошо? Правда? Завтра в 9 еду в город искать квартиру, — резнули его слова жены. — Ты верно не поедешь?

Где же эта русая коса и покорные синие глаза, столь пленившие его? И что от них осталось. Тупая, недобрая тщеславная женщина. Очень часто плохо понимающая, что говорят и как это нужно принять. Да, убил бобра!..

Квартира нанята и обставлена по вкусу Галины Андреевны. Красная плюшевая гостинная. Красный ковер с бахчисарайским фонтаном, темная красная скатерть, плюшевые красные портьеры с пупышками по концам бахромы. Тюлевые занавески и рояль.

— Хоть ты теперь и не играешь, но это для украшения, — сказала она. Появилось множество гостей, карты, ужины, обеды, сами в гостях. Жизнь закружилась.

Помещик он был первоклассный и рода хорошего, старого. Все рады были его видеть, поговорить с ним, выслушать его всегда спокойные и практичные советы. Ее недолюбливали. Вульгарна, груба, с трудом найдешь тему интересную для нее.

— Обуза, весь вечер занимай!

Однажды за чайным столом кто-то произнес фразу по французски, кто-то подхватил, на какую-то минуту разговор перебросился от одного к другому, по французски, что-то сказали и ей. Она покраснела до слез, ничего не поняв. Дома посыпались упреки мужу.

— Вот, из-за тебя, сидела там с коровами, пчелами, а мне бы учиться, да учиться по французски, не пришлось бы краснеть, — и пошли упреки...

Услышала господский разговор горничная. Вмешалась, — да чего проще, барыня, я акушерку позову. Она на все языки говорит.

Сказано — сделано. За три рубля в месяц акушерка будет давать уроки, от 4 до 5 часов, а потом пить чай с закуской. Дело пошло на лад. Акушерка принесла Марго и, по каким-то ей одной известным, педагогическим приемам, стали постигать науку. Они выучивали наизусть целыя фразы. Когда

надоедало или уставали от бестолкового восприятия науки, акушерка говорила.

— А теперь алон ну променэ о шмен де фер, — и они шли на станцию прогуляться.

Однажды в собрании давали ужин в честь заезжего гостя. Галине Андреевне пришлось сидеть налево от гостя и он старался занимать ее. Видя, как ему трудно, кто-то бросил шутливую фразу по французски (в то время было модно пересыпать русскую речь французскими словечками), ее подхватили и, видя выпирающее желание Галины Андреевны что-то сказать, гость обратился к ней, она старалась что-то вспомнить, крутились обрывки заученных фраз, но все перебивало, — алон ну променэ о шмен де фер, и она без запинки выпалила.

Гость на мгновение онемел, глаза его округлились от изумления, щеки надулись от еле сдерживаемого хохота, кругом все замолкло. Гость справился с пароксизмом смеха и любезно что-то ей ответил.

Кто поймет истерзанное сердце Галины Андреевны, сообразившей, что получилось что-то не так. Нет, учиться надо иначе, решила она...

Маскарады, балы, спектакли, конечно, объединили все отдельные кружки. Шли все от мала до велика, так огромна была жажда развлечений. На катке играл оркестр пожарной команды в касках.

Аврелия Львовна пригласила Галину Андреевну участвовать в любительском спектакле и непременно поставить «Тетеньку» и непременно роль «Тетеньки» дать Галине Андреевне. Было ясно, она хотела показать свой талант, как может играть она, по сравнению с другими любителями и отомстить Галине Андреевне.

За что же отомстить? Что плохого могла сделать ей несчастная улитка?

А случилось так. На Рождестве, кучка молодежи устроила спектакль. Ставили «Елку». Кто не знает этой прелестной рождественской пьесы. Сюжет таков.

Богатый присяжный поверенный разошелся с женой и женился на молодой красивой девушке. И вот огромная завитая серебром и золотом елка. На высокой лестнице красавица жена вешает на елку последния украшения, на верхушке. На ней изумительное газовое платье, пышныя кружевныя юбки и золотыя туфельки. Муж у подножья лестницы, не налюбуется на свою молодую жену, а та кокетливо грациозно, бросает ему то ласковыя слова, то конфетку. Входит дочь, продрогшая, с крохотной муфточкой, в жалкой черной коротенькой кофточке, запорошенная снегом шапочка, и умо-

ляет отца вернуться к ним. Мама больна, они бедны, нищи и она, Леночка, добывает хлеб работой. Отец любит молодую жену, забыл обо всем, но когда перед ним его ребенок, голодная, замерзшая, живет в ужасных условиях его, когда-то любимая, заласканная жена, — у него страшная борьба. Злыя холодныя слова мачехи и Леночка уходит. Весь эффект пьесы заключался в том, что молодую жену играла действительно красавица Лиза, дочь директора банка, а Леночку, — Леночка, дочь присяжного поверенного.

Спектакль был поставлен не Аврелией Львовной, а другой компанией любителей и бил не в бровь, а в глаз Аврелии Львовны.

Леночка вызвала такую страстную жалость в публике, да и играла она чудесно, словно украла все жесты и интонации у Артистки Художественного Театра, в Москве, игравшей дочь Феди Протасова в «Живом трупе»... но из городка этого барышня никогда не выезжала. «Живой труп» не видела, также не видела и артистки, Токарской младшей, исполнявшей эту роль, играя с Москвиным в «Живом трупе».

Но боль Леночки из этого городка, была равна таланту Токарской, понявшей и передавшей эту боль и страдания брошенного ребенка...

Черное пятно явственно обрисовалось на розовом фоне счастливой жизни Аврелии Львовны. Позеленевшая даже под гримом, она едва досидела до конца. Этого она не ожидала. Она думала, молодежь сыграет кое-как, что только подчеркнет прелесть спектаклей, которые устраивает она. Оказалось, молодежь справилась с задачей великолепно. Потом по городу поползли слухи. Да может быть и действительно жена присяжного поверенного жива. Сам адвокат, взял да и устроил развод...

Кто надумал эту гадость? Кто подложил свинью? — не переставая думала Аврелия Львовна. Нити протянулись к акушерке, — социалистка, поднадзорная, вот и пакостит. Ну, так или иначе, доберусь, думала Аврелия Львовна. Да уж не тихоня ли эта «алон ну променэ о шмен де фер» тут замешана. Всюду бывает, все видит, слышит, сама почти ни слова не говорит, наверно с акушеркой все это задумали.

Время шло, но виновные не находились.

Огромная афиша возвещала на Масленице маскарад. Собрались и стар и млад. Было тесно, пахло духами, потом, клеем от масок клоунов и арлекинов. Какое-то черное домино, подкатив к уху Аврелии Львовны, надушенное кружево, шепнуло, — «не ищи далеко, ищи близко». ...Загадочно, но применимо к кому угодно, а главное, к кому хочется. Подозрение на акушерку и Галину подтвердилось (?). Почему?..

Разве можно искать логику там, где женщина путается в лабиринте загадок?! Когда гнев кипит и ищет выхода.

Вот почему роль «Тетеньки» была отдана Галине Андреевне. На читке все шло идеально. Все читали по тетрадкам, но Николай Хрисанфович ужасался, видя все несоответствие своей супруги для этой роли. Изящиная, искристая, всех завораживающая «Тетенька» и Галина Андреевна (с изрядным животом) не грациозная, тяжелая с чересчур развязными манерами...

Она сошла с ума, если не понимает, до чего жалка в этой роли. Но почему Аврелия Львовна хочет выставить ее на посмешище, уверяя, что все идет прекрасно?

Пришло выписанное по каталогу платье от Мюр и Мюрелиз из Москвы. На картине, в каталоге это была мечта и совсем недорого, — 100 рублей. Туфли, веер и проч., словом все, — 200 рублей. Действительно не платье, а мечта. Широкое. «Солей» — солнце, так и называлось. Мягкая ткань на шелку. Складки падали, как лилия. Сиреневое, светлое и по подолу толстая синелиловая кайма-жгут. Свитой из двух цветов сирени...

А декольтэ! Боже мой! Платье лежало на диване и все приходили любоваться на него. Какая красота! Попробовала одеть. Какая странность, все складки собрались на животе, как гора, а сзади гладко. Очень просто, платье не сошлось в поясе на целую четверть и, распялившись на боку щелью, все собралось на животе. Позвали портниху. Крутила вертела, где-то подрезала, и платье легло причудливыми фестонами. Два бока вздернулись на четверть, а зад и перед до полу. Решили, — раз два бока выше, могут подумать, что это такой фасон. Платье и туфли были главный гвоздь третьего акта. С болью смотрел на карикатуру «Тетеньки» Николай Хрисанфович. Убедить ее было невозможно.

Аврелия Львовна в восторге, а он понимает только в коровах и свиньях, а не в тонкой, элегантной жизни, — возражала она.

В день спектакля, Николай Хрисанфович не хотел присутствовать на позорище своей жены, но не выдержал и пришел. Сел на крайнее место во втором ряду. Из-за кулис тяжело «выпорхнула» «Тетенька».

Что за нелепая фигура, движения ветряной мельницы. После первых слов Галины Андреевны по рядам прошел смешок, и Николай Хрисанфович почувствовал, как вместо гнева, боль и жалость пронзили его сердце. Он встал, прошел за кулисы и как только она вышла со сцены за кулисы, взял ее за руку и тихо сказал: — Я болен, мне плохо, ты поедешь со мной сейчас же, домой. — Она хотела вырвать руку, но рука

была как в железных тисках и что-то не слыханное ею до сих пор, было в его голосе. Не слушая, что первый акт не кончен, что ей еще нужно выйти на сцену, не давая ей времени сбросить платье, стереть грим, он повез ее на извозчике домой. Подвел к зеркалу и когда без жужжания похвал и комплиментов, она увидела себя, с набитыми, как пакля светлыми волосами, старую, грузную, затянутую до спертого в зобу дыхания, подкаченным под подбородок бюстом и жалким размалеванным лицом, она горько разрыдалась.

— Ну, что, ты довольно посмешила всех! Тебе мало было деревенского счастья. Ты забыла, что ты, и откуда пришла. У себя в имении, хозяйка, ты к месту, а тут ты ворона в павлиньих перьях...

Перекладывая в коробку неодеванное сиреневое платье и неодеванныя туфли, Галина Андреевна шептала:

— Если бы портниха не обрезала бока, да туфли пришлись бы в пору, я бы «Тетеньку» как угодно сыграла, не хуже других. — И снова укладывала вещи, чтобы покорно, без протеста ехать в деревню.

# ХУДОЖНИК

Когда он сидел в своей маленькой будочке, носящей громкое название «Студия», он преображался. Он закрывал глаза и ему казалось, что он в Петербурге, блестящий ученик Художественной Академии, подающий большия надежды, что написанные им портреты будут великолепны, что его ждет слава и огромныя деньги, деньги, деньги.

Вероятно так и было бы, если бы с Васильевского Острова судьба не вышвырнула его на набережную Сены.

Он больше всего ценил кожу, — чтобы кожа была не мертвая, а жила. В Академии Художеств был безносый натурщик. Ученики рвались рисовать его торс, а главное кожу, так редко у натуры бывает кожа, которая живет, дышит. Ну, а где ее найдешь в Париже?

Смазливая мордочка, подъемистая ножка, кокетливый взгляд, эффектная поза, но тела, увы! не найдешь. Оголение худосочных, как на подбор, украшает стены выставок.

Он подумал, уж если рисовать с такой натуры, то и название этим выпертым лопаткам и плоским ляжкам, нужно давать соответствующее, а не поэтическия «Девушка у фонтана», «Ожидание», «Весенняя греза», «Роза Востока», а фигурирует та же тощая шея, выпертая лопатка и голодные глаза.

С Монмартра он ушел. Однажды отыскивая натуру, он

увидел на рынке какую-то девченку и нарисовал с нее, в живописных лохмотьях, как она была одета, «Голод в Индии». Потом откармливал девченку целую неделю, до отвала, до отрыжки.

Картину заметили, купили. Он купил девченке платье, туфли, дал 15 франков и та счастливая благословляла его. Он написал два-три портрета очень удачно. Образовалась клиентура. Однажды пришел известный адвокат. Сказал художнику, что видел нарисованные им портреты, находит в нем большой талант и с удовольствием будет ему протежировать. После удачно выполненого портрета адвоката, заказы посыпались как из рога изобилия, а с ними и деньги. Адвокат привел даму большого общества. Муж крупная персона в правительстве. Она была капризна, нервна, не очень молода.

Осмотрев внимательно его ателье, она пожелала иметь портрет, нарисованный им.

Сеансы начались. Дама аккуратно приходила. Портрет подавался туго. Художник не мог понять в чем дело. Почему ему так плохо дается это капризное лицо, постоянно меняющее выражение. Ее нервность передавалась художнику. Если она замечала, что у него не выходит, он что-то поправляет, у нея нервно сдвигались брови, капризно дергался уголок губ и злыя слова готовы были сорваться вслух.

Художник в нее влюбился за ея капризы, она хороша была в гневе.

В жизни ея что-то не ладится должно быть, — думал он. Муж, дочь, но о них она никогда не говорит...

Портрет почти окончен. Она была особенно зла в этот день. Снимая длинную перчатку, так рванула, что та повисла лохмотьями, разорванная на двое. Он дорисовывал молча, боясь жестом, словом, навлечь гнев и даже подумывал, — хоть бы ушла поскорее, чтобы не вызвать, случайно, обидной для него сцены, как часто бывало, когда он слушал ея злыя слова, как щенок, поджавший хвост, нашкодивший, не в меру разрезвившись.

И вдруг, — снимите туфель, — она протянула ножку, — жмет ужасно. Он опустился на колено изумленный и осторожно снял туфель. Подъемистая ножка оперлась на его колено. Дама в упор смотрела на него черными горячими глазами. Он снял второй. Дама молчала. Воланы платья легли кругом ножек, — бело-синее море кружев...

...Она ушла. Портрет остался недописанным. Он ждал... Работалось плохо. Мысли о ней жгли, злили, метались, как осы. Зачем? Почему? Каприз, увлечение? Одиночество? Но ведь есть муж, дочь. А впрочем, какое мне дело? Надо рабо-

тать. Париж жрет много денег, если хочешь жить прилично, — работай.

Прошло около полугода. Она пришла. Тот же капризный излом бровей, злое подергивание уголком губ.

— Как! Портрет не окончен?! И уже совершенно недовольным тоном, вздернув плечи, — неужели еще позировать? И полился поток злых упреков. Ее бешенство передалось ему. Все же сеанс начался.

Когда она пришла, вернулась, он, передумавший в ея отсутствие тысячи мыслей, положений, вопросов, — почему?, хотел приласкать, утешить, отдать ей дружбу, сказать, что ничего больше не нужно. Пусть возьмет его жалость и верность верного друга, умеющего слушать и понимать. И вдруг, услышав ея злыя слова, он увидел, что мысли его, под влиянием ея злых слов, вылились на портрете в необычайной форме. Он затушевал от носа губы, щеки, подбородок, дал ему форму лопаты, длинной черной лопаты и сам, обозленный всей этой дикой сценой, еле удерживался, чтобы не закричать, — убирайтесь вон, к черту, и не смейте больше отравлять мне жизнь, мешать работать. Производите эксперименты над вашим мужем миллионером. —

Он схватился за голову и теряя сознание опустился на ступеньки возле мольберта.

Он не знал, не помнил, и сколько ни старался потом припомнить, — не мог, хотел он только это крикнуть ей, или крикнул. Когда он пришел в себя, ее уже не было. Он вздохнул с облегчением. Наверно больше не придет. Замазал бородатую женщину, с каким-то злорадством и стал прилежно работать...

...Она пришла, спросила о портрете.

— Но вы же видели, я его испортил и, конечно, уничтожил.

— Так начнем новый, — спокойно сказала она, так спокойно, как будто ничего не произошло.

Художник был мечтатель. В период ея отсутствия, он много передумал о случившемся. Ему казалось, что он ее обидел тем, что поддался увлечению, но с другой стороны, он понимал, что он не делал никакой попытки к сближению. Она, сама, первая, гигантскими шагами пошла ему навстречу. Все же он склонен был во всем оправдывать ее и винить себя. И тяжелая сцена, какой закончилось свидание, висела страшным упреком над его совестью. Он рад был теперь загладить кажущуюся ему вину. Этот добрый малый делал героическия усилия переносить безропотно все капризы.

Портрет был написан. Отправлен мужу ко дню рождения и тот прислал ему чек на десять тысяч франков.

Встречи продолжались по прежнему — бурно... Однажды она спросила его:

— Знаете о чем я думала сегодня, идя к вам?

— Нет, не знаю.

— Мне кажется, что я вас люблю...

Встречи стали чаще и нежнее. Но он устал от ея вздорной неуемной натуры. Он любил покой, тишину. Это давало ему вдохновение. Он вообще плохо понимал все происходящее. Он имел и раньше связи, но там все, всегда было ясно, а тут он шел покорный чужой воле.

Девченка с его легкой руки пошла в гору. Имела работу и иногда позировала для него. Он любил эти тихие сеансы. Девченка покорно, не меняя позы, стояла часами, давала ему возможность вдохновиться и вылить на полотно замысел. Она округлилась, пополнела и он нарисовал ее танцующей тарантэллу с бубном. Продал за большия деньги. Девченка подросла, возмужала и без ума полюбила художника. Из голодной, подзаборной чумички, выросла стройная, красивая девушка.

— Тереза, ты сделаешь хорошую карьеру. Работай больше, не ленись. Как модель, тебя будут оплачивать дорого.

— Я хочу работать у вас. Только у вас.

— Это невозможно. Я пишу портреты и редко позволяю себе роскошь рисовать картины.

Однажды художник ехал в Буа де Булонь, в Арменонвиль, позавтракать. Как вдруг увидел даму в коляске, а с нею была хорошенькая блондинка. Он повернул за ними, раскланялся и предложил даме поехать позавтракать в Арменонвиль. Минуту подумав, она согласилась. Блондинка была ея дочь.

За все четыре года их связи, дама очень редко вспоминала, что где-то учится ея девочка. Он уже давно бывал в их доме и видел портрет девочки лет четырех, шести и вдруг, красавица блондинка, чем-то неуловимо похожая на мать. Правда, похожая иногда, — разница в годах — матери к сорока, дочери лет 17-18.

Хороша! Античный профиль, тело, постав головы, — «Диана»! Попрошу позировать.

Мать отказалась даже обсуждать этот вопрос.

И вот однажды девушка тайком пришла к художнику.

— Рисуйте.

Художник, прежде всего художник, и натуру, которая вошла в его сердце, мысль, творчество, он из когтей не выпустит. Потирая радостно руки, художник воскликнул:

— Будет «Диана», и какая! Все остальное вздор!

Бывая у них, он называл Люлю Дианой и это утвердилось за ней. Никто не протестовал. Действительно в Люлю совсем

не чувствовалась субтильность француженки. Англо-саксонская кровь отца, может быть предков, текла в ея чуть приметных голубых жилках. Форма ног кругла к бедрам, узкия бедра и свободная талия, гибкая, волнующаяся, — «Диана». Она и сама чувствовала отвращение к своему имени — Люлю. Узел завязывался.

Он никогда не спрашивал, как устраивалась Диана, но она приходила аккуратно на сеансы. Дружески кипятили они спиртовой чайник, пили чай с кеками, с сандвичами, иногда она делала крюшон, и делала его мастерски...

И вдруг, однажды стук. Условный стук дамы. У художника упало сердце.

— Диана, уходите по запасной лестнице. Вас никто не должен видеть у меня.

— Но я позирую для портрета, что плохого в этом? Ведь это незнакомые мне люди. Я для них натурщица, вот и все, — запротестовала она.

— Диана́, немедленно уходите. — Тон был его резок, почти груб. Она схватила зло шляпу и вышла. И тут, в этом жесте и брошенном ею взгляде, он увидел сходство с матерью, которое так пугало его в ней, но уловить которого раньше он не мог. Уж слишком различна была их наружность.

Он откинул крючок и дама вошла. Два стакана, крюшон, беспорядок, говорили, что здесь кто-то был. Измятый двумя диван. Беглый осмотр комнаты, картин. Нет, все молчало, но ясно, — было.

Портрет Дианы был на месте, ловко повернут к стене, прижатый мольбертом с клочком неба и моря.

— Отчего вы так долго не открывали?

— Ах, Анжелика, я не был подготовлен к вашему визиту и был почти раздет.

— А это? — кивнула она на два стакана.

— Был вчера приятель.

— Какое свинство, — с отвращением сказала она, — и ночь и день никто не пришел убрать. Вы должны иметь прислугу. Квартира должна быть убрана.

— Хорошо, Анжелика, но прислуга будет всегда торчать и ваши визиты...

Она прервала.

— Я пришлю свою, надежную.

Этого еще недоставало, подумал он. Да зачем мне вообще вся эта канитель. Годы и годы эта женщина мне портит жизнь, распоряжаясь и командуя мною. Я слишком мягкотел. А может быть я так занят своими делами, работой, что эта сторона жизни совершенно отсутствовала, не занимая моих мыслей. По существу, моя роль всегда была пассивна. Когда

я горел желанием, ждал ее, считал часы, минуты, она приходила злая, холодная, еле ткнув мне в зубы руку для поцелуя, а иногда даже бесцеремонно обтерев поцелуй о муфту. Иногда, когда я был меньше всего расположен к восторгам, любви, — она как вихрь, как буря налетала, требовала, умоляла...

Все вспомнилось ему... Целый ряд унижений, капризов, упреков и это полное властное распоряжение его судьбой. Ведь если она посадит к нему мегеру, следящую за каждым его шагом, тогда прощай «Диана» и он зло сказал.

— Нет. Я хочу свободы.

Ей показалось что-то новое в его тоне. Это не был тот, взбунтовавшийся раб, смиренно склонявший голову, когда ласковая рука одевала ему ошейник, после бури. Это не был раб. Нет. И сегодня, ласковая рука, страстный порыв, любовь, ея любовь, не помогут. Он другой. Но что или кто сделал его другим? Странные эти русские, подумала она. Вот француз, — бурная сцена, стук, шум, битая посуда, летят предметы (осмотрительно, не очень дорогие), чаще не бьющиеся, но шумные, и женщина, словно невзначай, принимает живописную позу, платье умелым жестом обнажает плечо, щегольски обутые ножки и он уже шепчет «шери, шери». Он побежден.

А этот широкоплечий медведь, кто его знает, что таится в этих серых глазах. Возьмет за шиворот и скажет, — «вон», без полета небьющихся предметов.

Пожалуй лучше уйти, с достоинством.

Она встала и жестом королевы величественно вздернув голову, — вышла.

Вздох облегчения вырвался у него. Пора кончать! И теперь, когда он понял, как дорога ему «Диана», он с отвращением подумал о встрече с Анжеликой.

Неужели она не поняла, что все кончено! Неужели вернется? Он сжал зубы до скрежета. Не могу и не хочу. Конец. Там — конец...

Думал ли он хоть минуту о Диане, не картине? — Нет. Сейчас он был только художник.

Солнечным утром, девченка подъехала в маленьком шарабане. Взбежала к нему в ателье в умопомрачительном туалете и пригласила ехать в Буа де Булонь.

— Что с тобой, ты выиграла миллион в «Лотери Националь»?

— О нет, — расхохоталась Тереза, сверкнув белой полоской зубов. — Эта лошадь, шарабан, костюм и я будем на выставке и это сделал ты, ты! — радостно восклицала девченка. — С меня сейчас рисует картину Н. Н., она назвала имя знамени-

того художника. А когда кончит картину, то все это останется мне и пять тысяч франков.

Девченка подскочила и, ловко охватив его шею руками, повисла, — впиваясь агатовыми глазами в его глаза.

— Как я рад, моя девочка, за тебя, что поставил тебя на дорогу, — ласково сказал он, наклоняясь так, чтобы руки ея сползли с шеи.

— Ну едем, едем. Ты везешь, а я угощаю тебя завтраком в Буа де Булонь. Действительно, как здорово вышло, говорил он по дороге, обнимая ее за плечо. Я и сам не ожидал. Умница, что голодала, а не пошла по рукам. —

— Нет, не я умница. Пока я была грязная, оборванная, лохматая, сама себе противная, на меня кроме пьяных никто и смотрет не хотел. А когда почистилась, приоделась, стали заглядываться, а я уж в это время полюбила вас. И все мне стали противны.

Она болтала и в то же время ловко лавировала среди экипажей и автомобилей.

— Кто тебя научил править?

— Хм! Я лошадей знаю с четырех лет. Мы, цыгане, стояли под городом около станции железной дороги. Так вот, я с поездом гонялась на перегонки, верхом. А когда минуло семь лет, мы кочевали и я правила фургоном. Лошади было тяжело, цыгане шли рядом, помогая на косогорах, а я правила. Однажды я пошла в лес по малину, заблудилась. Одна женщина подобрала меня сонную, при дороге. Потом все бежали куда то, бежала и я. Женщину потеряла. Может быть раздавили, — много давили тогда народу. А потом так и жила около рынка, где ты меня подобрал.

У него сжималось сердце от жалости, слушая этот рассказ полуребенка...

Ни Анжелика, ни Диана не появлялись. Несколько раз приходила мысль написать им, но порвав несколько неудачно начатых писем, он бросил эту мысль. Что подумает муж друзья, знакомые, встречавшие его в салоне Анжелики, о его упорном отсутствии. Это его тревожило. Разве пойти? Но в Париже известный круг людей встречается почти постоянно в однех и тех же местах. Опера, Вернисаж, у Максима... и он имел всегда случай при встрече сослаться на перегруженность заказами.

Однажды на концерте он увидел Диану, окруженную молодыми людьми, как будто слишком развязными. Заметил он ее не сразу. Он любил музыку, она опьяняла его, как опиум рождала грезы. Оркестр исполнял симфонию Гайдна и он прикрыв глаза ресницами, видел картины далеких экзотических стран. Взрыв аплодисментов. Он очнулся и увидел

проходящую Диану. Ему не понравилась фамильярность молодежи. Он встал, просто протянул ей руку, —

— Сердишься? за что? за то что я оберегаю твою репутацию? Дитя! И взяв ее под руку повел к выходу. Диана не протестовала.

— Мы поедем ужинать в Кафе де Пари.

Она молча шла. За ужином он узнал новости. Отец очень болен, едва ли встанет — приговор врачей. Мать взволнована. Никуда не выходит. У Дианы жених. Всесильный министр, Маркиз.

— Ну, вот, видишь, — дружески сказал он ей, сколько нового. А ты не пришла, ничего не сказала.

Диана широко открыла глаза.

— Вы даже не спросите меня, люблю ли я жениха? Неинтересно?

Он смутился.

— Ну, конечно, я хочу знать все. Кто, что, когда свадьба, но еще больше меня интересует, — неужели «Диана» останется неоконченной из за твоего глупого каприза.

Закусила губу. Молчит. Кончили ужинать.

— А теперь я тебя довезу домой.

— Нет! заедем к вам посмотреть картину.

— Хорошо.

Диана села на ковер и долго смотрела молча на картину, переводя глаза на него. Круто обернулась. — Раньше вы меня любили, а теперь... — не докончила, вскочила и выбежала вон.

— Мать, — подумал художник, и не пошел за ней.

На другой день сеансы начались.

— Вы меня попрежнему любите?

— Да, конечно.

— Ах, если бы я могла быть всегда подле вас. Как бы я вас баловала, берегла. У нас дома так скучно. Может быть вы могли-бы приходить хоть изредка к нам...

Была выставка. Анжелика с Дианой взяли художника под руку с двух сторон и внимательно слушали его объяснения, переходя от полотна к полотну. Вдруг он изумленно остановился перед картиной. Девченка в кабриолете была поразительна. Казалось сейчас выпрыгнет и подойдет к нему. И не успел он улыбнуться этой мысли, как действительно девченка оказалась перед ним, в упор, зло глядя на его спутниц.

Она была красива, шикарна, вызывающим туалетом деми-монденки. Он смутился.

Взгляды трех женщин скрестились. Он спешно похвалил картину, сказал, что будет рад видеть Терезу в ателье,

и что напишет совершенно новый сюжет в два три сеанса, дав этим понять дамам, кто Тереза.

И странная вещь, как иногда мысли людей бродят около истины, — вот-вот готовыя уцепить эту истину, но... Анжелика теперь была уверена, что именно ЭТА была у художника, когда она долго стучала и он долго не открывал двери. И стаканы, и крюшон, и его гнев, на ея желание прислать свою прислугу. — Диана приписала его грубый тон, когда он почти выгнал ее, свиданию с ЭТОЙ. — Одна девченка ничего не думала и просто хотела, чтобы они убирались поскорее.

Мать и дочь взбешенные быстро распрощались, даже не пригласив его.

По простоте своей, — не зная их мыслей он не придал этому никакого значения. Раза два, придя к ним, он получил извинение, — принять не могут. — Вероятно отцу плохо, подумал он.

Но вскоре он почувствовал, как вокруг него образовалась пустота. Прекратились заказы того круга, к которому принадлежала Анжелика и его богатое ателье стало ему не по карману. Да и консьерж, прежде такой милый, любезный, предупредил его холодно, что контракт возобновлен не будет, и пришлось искать другое ателье. Несколько раз был он вызван в Префектуру, совершенно не понимая вопросов, которые ему задавали и чувствовал себя в невероятно глупом положении... Так резко изменилась вся его жизнь.

Девченка шла в гору, получала огромные деньги, как модель. Когда он рассказывал ей о своих неудачах, несчастьях, она охала, вздыхала, плакала, хотела дать денег, — он обругал ее. Подступала бедность. Префектура с какими то намеками. Слежка консьержки на новой квартире. Явный безцеремонный просмотр писем, — сделали жизнь невыносимой.

— Тереза, я хочу уехать в любую другую страну. У тебя много знакомых, устрой, устрой куда нибудь.

Виза получена и он двинулся в путь. Проехал страну за страной. Теперь у него в другой стране, в теплом климате, маленькая будка. Дверь на улицу открыта. Места в обрез, — поставить стул для натуры и стул для художника. Крохотный мольберт. Сам он седой, такой же мечтатель. Иногда мечты его заносят далеко, в экзотические страны, но чаще всего, когда нет клиентуры, в желудке пусто и никаких доходов на горизонте, ему кажется, что он в Петербурге, он ученик Художественной Академии, его ждет блестящая карьера и деньги, деньги, деньги...

Это тогда, когда солнце припекает тротуар, в его бу-

дочке прохладно, т.к. четвертая стена будочки — лестница и оттуда тянет сквознячком.

Он вообще не был создан для борьбы. Он брал то, что само шло в руки. Брал неумело. Он остался мечтателем.

Когда он ходит искать натуру, чтобы написать картину (напрасная мечта) в крохотной будке остается женщина, высокая, худая, с пергаментным лицом и огромными агатовыми глазами. Обхватив колени худыми темными руками, она покачивается и тихо поет, глядя тоскливо вдаль;

Пал иней ночью на травушку,
Цветочки покрыл он густой пеленой.
Они погибли, повяли без времени. . .

Девицу юноша полюбил,
Она темной ночью из дома ушла,
Отца и мать покинула, поки-и-нула.

Но дальний край неприветен был,
Желаннаго счастья они не нашли.
Они повяли, погибли без времени.

Никто не признал бы «девченки» в этой женщине. Остались одни агатовые глаза.

Однажды перед будочкой остановились две дамы. Художник писал портрет с какого то пузатого человека. Он тонко схватил характерную черту и быстро закончил портрет. Получил доллар, довольный сел в глубине в тени на место клиента. Он был счастлив и доволен, — жизнь на сегодня обезпечена.

Молодой даме понравилась его манера писать, быстрота.

— Зайдем, пусть напишет мой портрет.

— Неудобно на улице. Могут случайно пройти знакомые, заметят.

Зашли, точнее подошли к отверстию двери. Поговорили. Рисовать он будет у них в отеле. Муж в восхищении. Это так приятно иметь портрет любимой жены.

На другое утро пришел он в отель, чистенький, в сереньком пиджачке еще парижского покроя.

Дамы завтракали в ресторане отеля, — огромной зеркальной столовой. Проходя по вестибюлю и войдя в столовую, он старался припомнить что то, что когда то так было и у него. Зеркальные окна, Буа де Булонь, — словом все, что страстно, глубоко хоронил он за это время.

Его уговаривали позавтракать.

— Я сыт, благодарю. Вот разве чашку чая.

И вот тут, что то непонятное случилось с ним, чего да-

мы постарались не заметить. За чашку чая, он положил возле блюдечка 25 сентов. Он был горд, он остался самостоятелен, независим...

Сумасшедший, подумала младшая.

Русский, несчастный выбитый из колеи человек, — подумала старшая.

Художник рисуя, мечтал.

Какие чудные глаза, темно-темно-синие, опушенные бархатными темными ресницами, чудесный излом бровей. Какой благородной линии лоб. Она меня полюбит и останется здесь. Нет! здесь Тереза. Она увезет меня, в ту прежнюю жизнь. Куда? На берега Невы, в Академию, на Васильевский Остров? Нет, туда нельзя. Там большевики. В Париж? Там префектура, слежка, темные силы, испортившие ему жизнь. Нет. За портрет дадут большие деньги и он купит маленький клочек земли, как Пенаты Репина.

Он мечтал, мечтал. Работа не клеилась. Чудесные глаза, ресницы, брови, лоб, точенный нос, — все было великолепно, но дама от долгого напряжения сохранять позу, устала. Утратила свежесть, задор, который делал ее очень моложавой. И вдруг он увидел, а главное сказал, —

— как странно, вы постарели на моих глазах. Это прямо навождение, когда я начал писать, мне казалось вам лет двадцать, а сейчас вам сорок пять.

Дама резко дернулась. Ей было немного больше.

— Я устала, сказала она сухо.

За портрет ему дали пять долларов.

Но дальный край непрнветен был,
Желаннаго счастья они не нашли.
Они повяли, погибли без времеии...

Пела женщина, покачиваясь, устремив вдаль печальные агатовые глаза.

Если будете в этом городе, непременно пойдите к художнику и попросите нарисовать ваш портрет.

# ПРОФЕССОР

— Мама, что такое с папой за последнее время? — в десятый раз приставал к матери Володя.

— Но откуда я знаю, что ты спрашиваешь меня? Я его вижу столько же, сколько и ты, спроси сам у него, — нетерпеливо отзывалась Людмила Петровна.

— И вовсе не столько, сколько я. Видите Вы его гораздо больше и чаще, и могли бы видеть еще больше, если бы хотели.

И это была правда. Володя вставал рано, уходил в университет. Видя, что отцу приходится нести непосильное бремя расходов, Володя работал кроме того на стороне. Этот 18-летний мальчик чутьем догадывался, что отцу тяжело, что в семье рознь, что отец работает не по силам, деньги сыпались неизвестно куда, и старался сам зарабатывать. Домой приходил урывками и чувствовал даже некоторую неловкость от того, что пользовался столом и комнатой. Любил делать подарки на заработанныя деньги, часто приносил сестре, то модныя ноты, то плитку шоколада, то хорошенький носовой платочек. Людмиле Петровне — подносил крохотные букетики цветов, а на огромный стол отца тайно клал сигару, с восхищенной улыбкой предвкушая, как отец найдет его подарок и будет с удовольствием раскуривать. Отца он видел не каждый день.

Григорий Всеволодович, крупная известность в медицинском мире, в ранней молодости увлекся поэтичным образом хорошенькой девушки, ангело-подобной, томной, в кудряшках, женился и быстро стал счастливым отцом семейства. Из поэтичных томных кудряшек, как-то незаметно образовалась самодовольная дебелая дама, воспитавшая в таких же традициях, в каких воспитывалась и сама, свою дочку, Ирочку.

Григорий Всеволодович с утра отдавался любимому делу, не найдя в семье ни одной точки, которая давала бы отдых душе его. В 7 часов он был уже на ногах, в 8 часов начинался прием больных, кончался к 12-ти и он выходил в столовую к завтраку. Но чаще всего заставал свой прибор одиноким.

Маман с Ирочкой уезжали на прогулки, в магазины. Запаздывали к 12 часам, к завтраку, да он был и слишком ранним для них. Оне вставали только к 10-ти, а профессору нужно было быть в госпитале к часу дня. К 5-ти возвращался домой и снова прием до 8-ми, порой затягивающийся до 9-ти. Маман с Ирочкой уезжали в это время в балет, оперу, на балы, к парикмахеру и опять профессор часто заставал свой одинокий прибор.

Как-то случайно, 8 лет спустя после рождения Ирочки, появился на свет Володя. И когда Володя стал понимать чуть-чуть жизнь, он отметил, что семьи в сущности нет, а есть прекрасно обставленный дом, автомобиль. Есть прекрасный лакей, беззвучно двигающийся по коврам, повар и вертлявая горничная.

Два раза в месяц являлись гурьбою гости, наполняющие шумом и гамом все комнаты. После них было ужасно много мусора и дыма.

И была другая половина, неизвестная, загадочная для Володи. У отца был свой ключ, он незаметно для других вхо-

дил и скрывался за тяжелой дубовой дверью, на свою половину. Володя видел своего отца иногда усталым, иногда задумчивым, но всегда мягким, ровным и покойным. Часто тайком, Володя пробирался к замочной скважине и любопытный глаз жадно сверлил таинственную для него комнату и видел высокую гордую фигуру отца, то разбирающим какия-то книги, то согнувшимся над письменным столом до поздней ночи.

Профессор всю жизнь посвятил изысканию способов облегчить страдания человека. Последнее время Володя часто оставался завтракать дома и видел, как Григорий Всеволодович мрачный, сосредоточенный сидел за столом, почти не дотрагиваясь до кушаний, как кожа обтягивала, словно пергаментом, его высокий лоб и скулы, а глаза горели сухим лихорадочным блеском. У отца был такой вид, как будто он пришел из другого мира, на минуту, и ничто окружающее его не интересует, и что он сейчас, сейчас опять уйдет в свой иной мир...

Володя мучался, ему хотелось прижаться к руке отца, слезы подступали к горлу, ему хотелось спросить, почему отец стал такой непонятный. Однажды, после завтрака отец встал, Володя подошел, чтобы прижаться к плечу отца, он потянулся. — Иди, мой мальчик, иди, — словно испуганно отвел его руку отец.

Как ни странно, эта разрозненная семья вся любила Володю. Он никому не мешал жить, и о нем скучали, если он длительно отсутствовал, а в отсутствие его, всегда говорили о нем со снисходительной ласковой улыбкой...

Володя не спал ночь. Утром не пошел на занятия и решил уловить мать.

— Мама, что же с отцом? — и Володя рассказал свои наблюдения вчера за завтраком.

— Ах, милый, как ты мне надоел, как ты мне надоел! Ну, представь себе, я занята с утра до поздней ночи.

— Знаю, мама, — нетерпеливо взорвался Володя. — Знаю, ведь у нас семь комнат и в каждой есть зеркало, а в некоторых даже по два. Вы с Ирой только и делаете, что путешествуете от зеркала к зеркалу. Поймите, ведь я мальчишка, я не могу вызвать отца на откровенность. Но ведь вы прожили с ним целую жизнь, це-е-е-лую жизнь, — протянул он. Ведь вы должны знать каждый изгиб его души, каждую извилину его мысли. Ведь он живет только для вас, работает только для вас, существует для него семья и наука. Ах, какой прекрасный отец! Володя хрустнул тонкими, крепко сжатыми пальцами.

В последних словах сына Людмила Петровна прочла себе упрек и сердито вышла из комнаты.

— В самом деле, что с отцом, Ира, как ты думаешь?, — опускаясь на пышный пуф, в комнате дочери, спросила Людмила Петровна.

Ирочка делала прическу «Микадо», которая одновременно должна была молодить ее и делать пикантной и задорной...

От слов Володи у Людмилы Петровны заскребло какое-то недовольство на душе. Почудилась как будто некоторая справедливость упрека. Ведь она действительно, совершенно не знала мужа, совершенно не входила в его жизнь, которую он творил там, в глубине кабинета. Она знала, что он лечит ужасно больных людей, больных какими-то скверными болезнями, заразными и опасными.

Прежде, когда Ирочка была совсем маленькой девочкой и не требовала так много забот о себе, Людмила Петровна отдавала мужу больше времени. Он рассказывал о всех ужасах последствий этих отвратительных болезней. Она очень редко заглядывала в его кабинет, приемную и с отвращением трепетала, когда в передней натыкалась на какого-нибудь обезображенного субъекта, направлявшегося в кабинет доктора.

Ирочка подрастала и всецело захватывала мать. Людмила Петровна отошла от своего мужа душой, а потом отделились на разныя половины, стали почти чужими друг другу, и ея пышное тело тоскливо увядало, таскаясь с утра до поздней ночи, по магазинам, балам и театрам. Из магазинов оне сделали себе культ. Вечные вороха материй, кружев, лент, вечно новыя шляпки, и кабинет Григория Всеволодовича, рисовался обеим дамам, огромной дойной коровой.

— Маман! я думаю, здесь я сделаю смелый подбор и схвачу его пряжкой, — вместо ответа, на вопрос матери, вертясь перед зеркалом, вдумчиво произнесла Ирочка.

— Возьми бархат в тон пряжки и отпусти концами. —

Володю заинтересовал «смелый подбор». Он сунул любопытный нос и увидел сестру, стоящей в неестественной позе, с необычайно выгнутыми кистями рук, оттопыренной ногой, в платье с разрезом чуть не до колена. Предполагалось, что в танго, нога должна быть оттопырена именно так, и обнаружится эффектный разрез.

Людмила Петровна, позабыв сердечное ущемление от Володиных слов, вся впилась, ища наикрасивейший изгиб линии.

Оне обе предавались с азартом любимому занятию, вдохновенно обгоняя друг друга в изобретениях.

Ирочка была ни хороша, ни дурна, но партии не наклевывалось. А заветной мечтой маман, а может быть временами и Григория Всеволодовича, когда взор его падал на увядающую дочь, было желание скорее выдать ее замуж.

Учили ее всему. Она ходила изучать скульптуру. Кое-как училась во французском пансионе мадам Гедике. Известные профессора давали ей уроки музыки. Она знала французский, немецкий, итальянский, английский языки, даже, кажется, живя одно лето в Сен-Себастьян, изучала испанский язык. Ходила на кулинарные курсы, прекрасно приготовляла паштет из гусиных печенок, изучила маникюр, — словом была универсальна. Вероятно эта универсальность и пугала женихов, все они были просты и знали что-либо одно. Тот был учитель, этот инженер, этот археолог. И все они боялись универсальной девушки.

«А девушке в 17 лет, какая шляпка не пристала»! И в 17 лет действительно одевать ее было просто. Но чем старше становилась она, тем туалеты стали сложнее и они с маман часто погибали над изобретением разных «смелых подборов».

Просидев у портнихи 2-3 часа и, в тяжкой испарине вернувшись домой, они немедленно звонили по телефону, уже по дороге изменив течение мыслей, и на перебой вырывая друг у друга телефонную трубку, кричали, —

— Мадам Бризак, мадам Бризак, я вас просила воротничек общить «а ля гусар», но ведь он будет подпирать щеки и делать отвислым подбородок. Ради Бога, сделайте «а л'енфан» и кругом воротничка и рукавов пустите валансьен и бархатку, наивно свисающую двумя концами. Пожалуйста, не делайте «шу», это ужасно старит.

— Мадам Бризак, — вслед за дочерью гудела в трубку Людмила Петровна, — нижнюю юбку сделайте возможно уже, верхнюю сделайте всю на кулисках, валансьен не надо. Ирис всегда все перепутает и забудет.

Володя остро ненавидел это «Ирис». Людмила Петровна произносила его как-то особенно манерно подчеркнуто, лицо ея принимало надменно благородный вид, и она делала ударение на втором «и»...

А на другой половине отца действительно было не совсем благополучно. Григорий Всеволодович растерялся. Он, который умел ободряюще действовать на своих пациентов, уверенным словом, улыбкой, умел вселить луч надежды, он, который видел часто валявшихся у него в ногах, молящих об исцелении от ужасной болезни, людей, он чувствовал, что почва под ним колеблется. Он не только утешал больных, но он был уверен, что он их вылечит. Они приходили каждый день, с проклятиями на устах заразившим их, они горящими, полными слез глазами, смотрели в глаза Григория Всеволодовича, ждали слов, которыя сорвутся с его губ, как приго-

вора, — жить им или умереть, и он каждому говорил из них «живи, ты будешь здоров, ты будешь жить».

И вот теперь он растерялся. Делая операции, он часто забывал об осторожности и потом, видя какую-нибудь царапину у себя на руке, тщательно смазывал, промывал, прижигал...

Как это вышло, он не знает. Но факт на лицо, — он болен. Он болен той самой ужасной болезнью, от которой исцелял других.

И вот у него нет веры. Те убедительные слова, которыми так просто и легко он побеждал ужас своих пациентов, он не мог сказать себе, он не верил. А с кем поделиться, кому рассказать? Жене? да ведь она отшатнется от него, как от чумного. Не он ли сам пугал в течение долгих лет призраками этой ужасной болезни, рассказывая о последствиях.

Первое решение, — немедленно обратиться к коллеге, знаменитости, но ведь он сам знаменитость. К нему обращаются в серьезных случаях для консилиума. Он будет лечиться сам. А семья? Володя, с тихой лаской. Изредка, очень изредка, жена, вспоминающая, что существует муж, которому можно или нужно оказать внимание и любезность.

А весь ужас процедуры лечения, унизительный, мерзкий! Он вспомнил все, что переживали пациенты, когда, не долечась, пускали себе пулю в лоб...

Ему вспомнился молоденький подпоручик, — это был трудный случай, — подпоручик был слабовольный. Он не мог отказаться от дружеских пирушек, женщин, словом от всего, что составляло главное в его жизни, после службы, а профессор требовал этого. Он был веселый балагур, лихой наездник, чудесный товарищ и кумир женщин.

Бедный Коля! Ты был слаб, содрогнулся перед несчастьем и ушел. Напрасно профессор клялся ему, что он будет здоров, будет жить как все, иметь жену, детей, — но Коля, то ли не поверил, то ли не перенес унижения лгать, притворяться, прятать следы болезни, и пустил пулю в лоб. Профессор в последний раз пришел к нему в комнату. Он боялся за этого юношу со слабой душой и часто раньше навещал его, убеждая, уверяя и ободряя. И вот записка:

«Дорогой профессор, спасибо за все. Я умираю, потому что слишком люблю жизнь и не могу отказаться от нее...» Записка была неясна, — от кого, от нее? если от жизни, получается парадокс. Свет решил, — вероятно была тайная любовь, Коля благороден, он молча любил, вероятно, замужнюю женщину и отказаться от нее, было выше его сил...

Красивый миф. Горы цветов, ручьи слез. А если бы они знали действительность? Но ни одна душа не узнала правды.

Профессор молчал. Он дал себе слово, если будет в его жизни еще такой случай, он возьмет этого слабовольного человека к себе, под бдительный надзор и доведет до конца свою тяжелую работу.

Но теперь он болен сам. Он чувствует, как почва колеблется под ним.

После слов Володи, Людмила Петровна перепуганная и смущенная, решила пойти к мужу, узнать, что случилось, и, тяжело вздохнув, пошла в кабинет мужа, брезгливо нажав носовым платком ручку двери, вошла неслышно, подошла к нему. Профессор сидел у стола. склонившись на руку головою, глубоко задумавшись. Она обняла его за шею и села на широкую поручень кресла.

— Уже поздно, пора спать, ты не бережешь себя, — ласково сказала она, прижавшись щекой к его уху.

Профессор похолодел. Вот оно, — подумал он. Это начало. Он стал говорить, спешил, путал, что им нужно ехать на дачу в Крым, или Ессентуки, или в имение. Жена удивленно и подозрительно слушала его. Так он ответил на ея ласку. Она решительно встала и гордо заявила, что оне никуда не поедут и вышла...

Разгневанная и расстроенная неожиданной холодностью мужа, Людмила Петровна решила на зло ему остаться в городе и помешать его «увлечению». Почему эта нелепая, самая невероятная мысль, пришла ей в голову, — позднее, поразмыслив, она и сама изумилась. Профессор, и какое-то любовное приключение!

Но, сейчас, взбешенная, она тигрицей металась по своей комнате и не могла понять, — как так, она всегда желанная, малейшая ласка ее расценивалась профессором, не избалованным ее вниманием, как драгоценный дар, и вдруг отвергнутая им. Ей стыдно было признаться, даже перед дочерью, во всем происшедшем, обидном, не слыханно оскорбительном...

Но привычка все поверять дочери взяла свое и, не смотря на поздний час, она пошла к Ире и с дрожью в голосе объявила, —

— У отца роман, вероятно с какой-нибудь пациенткой, — и она рассказала о происшедшем в кабинете отца. Ира широко раскрыла глаза.

— Что?! — и упала на диван, рассыпавшись звонким хохотом.

Людмила Петровна сначала смотрела недоумевающе, потом сама стала смеяться.

— Боже мой, маман, к чему вы мучились там одни, давно пришли бы ко мне, рассказали бы все сомнения и я давно бы была у отца и попросила взять нам билеты до Севастополя, —

а там, — она широко вздохнула, словно набрав воздух в легкия, — море, Ялта, Алупка, Массандра, Байдарския Ворота, долина. Боже мой, как жаль, что сейчас уже поздно пойти к отцу, он наверное уже спит. Но завтра еще до приема я пойду к нему.

Ира бросилась на шею.

— Маман, милая, едем, едем в Ялту! Суук-Су, платан Пушкина, фаэтоны, прогулки верхом, о маман!

— Пусти, задушишь, — отбивалась Людмила Петровна. Обе радостныя разошлись по своим спальням, ведь завтрашний день принесет столько хлопот, столько приятных забот.

Байдарския ворота, спуск в долину, море Массандра, засыпая грезила Ира.

Муж любит по прежнему, славный, добрый старик, думала успокоенная Людмила Петровна, сладко потягиваясь на пуховиках.

— Нет, из всего выход один, — спокойно сказал себе профессор. Выдвинул ящик стола, достал револьвер. — Вот, из всего что я пронес всю жизнь, осталось верным мне.

Мысль скользнула к прошлому, давно забытому и донеслась до образа краснощекого мальчика, в толстой, ватной, гимназической шинели, поющего в гимназической церкви на клиросе

Слава в вышних Богу
и на земле мир.

В те времена и был им куплен револьвер, по случаю, и он с упоением стрелял галок. Он любовно погладил старого друга и подумал. Вот, мира-то, у меня и не было всю жизнь. Оглядел кабинет, словно ища места своего последнего успокоения.

— Нет, — еще раз сказал он, брезгливо поморщившись, пусть я ничем не нарушу тишину своего кабинета. Начнутся истерики, звонки по телефону, немедленно шить «простенькия» платья, простенькия шляпки с траурным крепом «к лицу».

Он подошел к окну и припомнил, что за городом есть молодая березовая роща...



Волга. Самолетский пароход «Грибоедов».

Чуть слышны всплески реки. Ночь. Тишина.

Напрасно Александра Сергеевна перестилала тонкия, полотняныя, прохладныя, простыни, взбивала подушки, настежь открыла оба окна каюты, уснуть не могла.

Не спится, выйду побродить по палубе, — подумала Александра Сергеевна.

Ночь тихая, волшебная ночь над Волгой, заливала серебряным светом прибрежные кусты, деревья, чешуей перебирая речной простор, мешала спать, тянуло из каюты и, набросив легкое платье, Александра Сергеевна вышла в одинокую лунную ночь.

Господи, какая красота! И все это дано нам, нам, ничем не заслужившим, может быть редко, а может быть и никогда не думающим, за что?, — за что мы получили от Господа, не сажая, не засевая эти дивныя леса, поля, залитыя сейчас фосфорическим волшебным светом... Эти прекрасные луга с цветами, какие не может изобразить, передать на полотно, ни один художник, плоды, ягоды, никем не посаженные, не взлелеянные.

Как велика щедрость Твоя! Мы не спрашиваем никогда, за что, это дано нам, а спрашиваем, за что, если нас постигает горе, несчастье, болезнь? Ведь это несправедливо.

Александре Сергеевне, первый раз в жизни, пришли эти мысли, под влиянием дивной ночи. Она шла по палубе бесшумно, мягкия ночныя туфли скользили как в легком танце, и она охотно поддавалась ритму шелеста волн.

Тихий затаенный плач. Плач в эту ночь? Невозможно. Она прислушалась. Да, это оттуда, из-за брезента, сваленного кучей, несется тихий затаенный плач. Она подошла, увидела женщину, низко к коленям склоненную голову, с гладким зачесом темных волос. Лицо закрыто руками, вздрагивающия широкия плечи, белая блузка туго напряглась на спине, видимо девушка сдерживала готовый вырваться крик.

Александра Сергеевна не была замечена и могла бы пройти мимо. Она не была из особенно чувствительных, ни любопытных, но плач в такую ночь, ее изумил. Она старалась вспомнить, кто и что связано с этой женщиной и вспомнила.

Все пассажиры парохода обратили внимание на красивую, сильную, стройную пару. Он в чесунче и панаме, она в клетчатой черной с серым юбке и белой блузке, типичные туристы, бинокли, сумки через плечо. Молодожены? Жених и невеста? Бросалось в глаза, как бы преимущество воли и команда женщины. За столом это обнаружилось в первый же день.

— Не ешь горчицы, Воля, — спокойно, но властно сказала она. Подали борщ, — не нужно перца, вот сметана. — Пива я тебе не дам, пей квас.

Молодой человек краснел и недовольно хмурил брови. Перед ними были красивыя кружки, какия обычно привозят те, кто лечится на Минеральных водах и оставляют кружки на память. Салфетки их были заключены тоже в кольца ку-

рорта, то ли Висбадена, то ли Мариенбада. По возможности они избегали разговоров с посторонними... Всегда вместе. Влюбленные или молодожены, решили пассажиры и оставили их в покое.

И вдруг эти горькия слезы. Александра Сергеевна прониклась жалостью, — наверно поссорились, решила она, — помирю. И она стала тихонько уговаривать, положив руку на плечо женщины.

Та плохо поддавалась. Тогда случайно, по наитию, Александра Сергеевна высказала те мысли, которыя пришли ей в голову под впечатлением дивной серебряной ночи, и женщина вдруг подняла голову. Должно быть голос, лицо Александры Сергеевны тронули ее, или силы изменили, но она вдруг сказала:

— Вы правы, счастье, радость, удачи мы ни во что не ставим, а как горе, — жалуемся, ищем виноватых вплоть до Господа, зачем послал нам страданье, но поймите, это для брата такое насчастье. Вы не знаете меня, я не знаю вас, но я кому-то должна сказать, снять с сердца эту страшную тяжесть. Вы видели того, с кем я? — Это мой брат. Ему 22 года. Чистый, как кристалл. Мне 25, я заменяю ему мать и отца, у нас их давно нет. Он филолог, я медичка, через год, — врач. Подходили экзамены. Однажды он сказал, у меня треснула губа, сухая кожа, дай мне какой-нибудь мази. Я держала экзамены, всегда внимательная к его словам, на этот раз я просто сказала, возьми ланолин или борный вазелин. Экзамен за экзаменом поглотили мое внимание. Были экзамены и у него, он пропадал, готовясь к экзаменам с двумя приятелями, и жил с ними все это время. Кончилась страда.

— Победа, полная победа, — шумел он еще с порога...

Я хотела его поцеловать и отшатнулась, схватившись за стол, чтобы не упасть. Я еле удержалась, чтобы не сказать ему, — сказать убить — мелькнуло, как в тумане.

Он бросился ко мне.

— Мне нехорошо, переутомилась, — сказала я. Он потащил меня к врачу, чему я страшно обрадовалась, так как этим он озбавил меня от необходимости вести к врачу его.

К ужасу моему врач подтвердил мое предположение, сказав, что брату нужно лечиться, как и мне «от переутомления». Мой взгляд остановил врача сказать брату правду.

Я отослала брата и осталась у врача. Он сказал, что болезнь очень серьезная, очень доволен был, что я медичка и со мной можно говорить без стеснения и послал к очень крупной известности, знаменитому профессору. Но говорят, что к нему нет доступа, так занят, надо записываться. Может быть вы слышали? Заев?

— Заев, — повторила радостно Алексадра Сергеевна, — да я училась в пансионе с его дочкой, Ирочкой. За ней часто заходил отец, сухой, высокий, на вид суровый. Он меня хорошо знает. Это добрейший человек и чудесный врач. Не волнуйтесь, я поеду с вами.

— Нужно рано, до восьми утра, а то не попадем в очередь, а доктор сказал, чем скорее, тем лучше...

Рано утром, приехав, напились кофе на вокзале и прямо направились к профессору.

— Приема сегодня нет, — как-то растерянно сказала горничная.

Александра Сергеевна подумала, будь, что будет, быстро, не говоря ни слова, вошла в кабинет, — и весело спросила:

— Профессор, дорогой, вы меня помните, — и она чмокнула его, как в былыя времена, в щеку.

— Да, да помню, так Ира и вы целовали меня в обе щеки разом за красносмородиновое варенье. А вы, чем же, девочка моя, приехали меня порадовать? — И он внимательно всмотрелся в лицо Александры Сергеевны.

— Нет, я здорова, а мои друзья, здесь в приемной

— А я только собирался уйти, — и он тяжело вздохнул, вспоминая березовую рощу.

Услышав это, не давая ему опомниться, боясь отказа, Александра Сергеевна, не пожалев красок, рассказала все и, так тронула сердце профессора рассказом о двух сиротках, выросших без отца и матери, где 14-летняя девочка стала главой и хранительницей брата, что он забыл обо всем, своем...

— Давайте, давайте ваших друзей...

Профессор просто подошел к студенту.

— Ну, коллега, давайте уединимся с вами, — и, взяв его за плечо, увел его в соседний кабинет.

Сестра страшно волновалась, как перенесет брат, когда узнает правду. Александра Сергеевна успокаивала.

Профессор вышел со студентом, обнимая его за плечо.

— Вашему брату я сказал все. Я ему дал мое слово, что он будет здоров, выполняя строго мои требования.

Дверь в кабинет с шумом открылась, влетела Ирис и, не обращая внимания на пациентов, восторженно объявила:

— Доброе утро, папа. Маман сказала, чтобы ты заказал четырехместное купэ до Севастополя. Мы едем в Крым.

— Здравствуй, Ира, — услышала она, оглянулась.

— Саня, милая, как давно мы не виделись с тобой. Отчего не бывала, не писала?

Александра Сергеевна рассмеялась: Любовь, замужество, ребенок. Поехала отдыхать и вот судьба занесла к тебе...

— Поедем с нами в Ялту, — сказала Ира Александре Сергеевне, в то же время кокетливо глядя на красивого студента, словно приглашение делалось ему.

— Нет, сейчас мы никуда не можем ехать, а приедем к тебе позднее, покатаемся верхом, в фаэтонах, поедим винограда, поедем в Массандру. Утром будем пить чай на поплавке. Чудно, правда?!

А Ира все не спускала глаз со студента, как зачарованная.

— Ты обещаешь? — спросила она серьезно Александру Сергеевну. — Дай слово.

— Даю слово. Не правда ли?, — обернулась она к сестре студента.

Та улыбнулась бледной улыбкой, — как скажет профессор, а я рада буду отдохнуть.

Профессор внимательно посмотрел на всю молодую компанию. Отметил восторг Иры и усталость сестры, посмотрел на нее —

Как вас прикажете величать? — Татьяна Матвеевна.

— Так вот, Татьяна Матвеевна, если вы ждете моих решений и предписаний, извольте. Юношу оставляю у себя до выздоровления. Татьяну Матвеевну охотно отправил бы с Ирой в Крым. Но она не послушает. Мои уезжают, а вы с Александрой Сергеевной поселитесь на дамской половине и будете заботиться о нас, болящих. А через шесть недель мы поедем в Ялту здоровыми и веселыми. С вами и я.

Взглянув на дочь, профессор увидел такое счастливое лицо, какого он никогда у нее не видел. Он забыл совершенно про жену, он чувствовал радость и мысленно говорил себе. И ты хотел уйти из жизни, унести все знания. Посмотри, молодая жизнь перед тобой.

Александра Сергеевна с грустью смотрела на профессора.

Как он постарел. Усталое пергаментное лицо, вдавленные виски, совсем седой.

Он нездоров, горничная сказала — не принимает, а я ворвалась со своими бедами.

Она подошла к профессору, прижалась щекой к плечу.

— Вы устали сами, простите, что я силой ворвалась к Вам, помешала.

— Умница, моя девочка, что силой ворвались ко мне. Если бы вы знали, как хорошо, что вы мне помешали.

И профессор крепко прижал к себе Александру Сергеевну.

# РЕКА

Река, в этом году, неслась бурная, страшная, все ломая по пути. Завертывая водоворотами, вкручивая в них обломки слабых мостов, живых коров, дико мычащих, копны сена в нерастаявших еще кусках льда, маленькие летние хижины... И, казалось, все выло и стонало, и над рекой, и в прибрежных кустах, и деревьях, склонявшихся от ветра и волн. Говорили, что снесло много мостов этим небывалым разливом.

В неистовом ветре и гаме была какая то стихия первоздания, разбушевавшего Титана.

В гостинной было тихо. Горел красивый спиртовой камин и свет тихий, ласкающий лился по ступенькам его, розово-серебистым пламенем отражаясь на металле.

Двое сидели молча, в креслах по обе стороны камина, глядя на льющийся огонек. Вернее на огонек смотрела она, а он смотрел на нее, не спуская глаз.

— Вы хотите терроризировать меня, Яков Савельевич, — тихо проронила она, улыбаясь одними губами, а глаза хранили суровое, холодное выражение.

— Какой же террор, — воскликнул он, радуясь, наконец, оброненным ею, словно нехотя, словам. — Я умоляю, прошу, неужели так трудно исполнить мою маленькую просьбу, — провести Пасху у нас. Повар наш печет куличи, паски и все для Пасхального стола лучше всяких рекламируемых специалистов. Мы поедем в Церковь в коляске. Кругом тишина, покой, что так цените и любите Вы. Кругом горы, сосны, хвоя, мягкая, шелестящая, как шелк под колесами, все напоено ароматом сосны, который тоже так любите вы.

— Ах, как хорошо изучили вы, Яков Савельевич, все что люблю я, и рядом с этим пугаете меня такими вещами, которые я не выношу.

— Бог с вами, я только хочу, чтобы вы поняли, что Пасху я хочу быть с вами, а как добиться этого, какой ценой, мне все равно.

— Да поймите, что предлагать мне приезд вашей семьи, на Пасху ко мне, это равно полному уничтожению для меня этого светлого радостного праздника. Я не люблю вашу, искривлявшуюся от богатства, и возможностей, жену. Это типичная парвеню. У меня кружится голова от ея духов, манер, все выше забирающегося до визга, голоса, я не переношу вашу старшую дочь. Достаточно побыть раз с вашими детьми за столом, чтобы потерять всякую охоту повторить это. Младшая сноснее, и я с ней охотно играю, с этим толстым Колобком, — и Евгения Николаевна улыбнулась.

Обрадованный улыбкой, он быстро подхватил смену настроения.

— Колобок вас обожает. Вы ее переносите, — поедемте к нам, — убедительно говорил он. Я знаю, когда мы бываем у вас, вас коробит мещанство жены, она ведь этого не понимает. Шум и визг детей. В вашем доме всегда так тихо.

Длинная пауза, непрерываемая никем.

— И вы справедливо назвали террором мое предложение, привести мою семью к вам, на праздники. Это мой эгоизм, простите Евгения Николаевна, я не подумал.

— Это прощено, — но еще больше, — вы хотите понудить меня ехать к вам, говоря, — если я не поеду к вам, вы сейчас, подчеркивая сейчас, возвращаетесь домой, несмотря на ужасы бушующей реки. Разве это не террор? Ведь у меня нервы человеческие, а не воловьи. Как я могу допустить человека семейного, очень хорошего, доброго, до такой глупости. А ведь вы сделать это можете. Вот уверяете меня, что вам, кто то сказал, что можно где то без риска переехать на пароме, а может быть там уже бушуют такие же валы, подбрасывающие паром, как и здесь, на сажени вверх? Ведь вы видели, что творится с паромом здесь?! Кто вас повезет? Такой же сумасшедший как вы, или алчный, убежденный вашими деньгами?

— Так если жалеете и обещайте поехать со мной к нам, на Пасху. Ну что вам стоит? А эти дни я буду также приходить к вам, смиренно сидеть у камина, и слушать ваше молчание. Почему вы так мало говорите со мной, ведь с другими вы живая, огневая, веселая?

Она отвела глаза от льющегося огонька, усмехнулась.

— Потому что с вас довольно и этого, а тех, других, еще нужно развлекать, — протянула она.

Он внимательно посмотрел, обдумывая, — шутит ли она или серьезно.

— Послушайте, Евгения Николаевна, моя жизнь проста, мне не было времени разгадывать загадки. Таких людей, как вы, я в жизни не встречал. Студент. Меблированные комнаты на Песках. Вонючий корридор, вонючий умывальник, с ножкой педалью и постоянным отсутствием воды. Лохматый корридорный, со спиртуозным ароматом. Бумажка, на ней колбаса, булка. Самовар... Университет и три урока. На Песках, на Васильевском Острове, на Лиговке. Вечером отчаянная зубрежка и товарищ Соня. Мятая юбка, еще больше нервно измятая желтоватыми пальцами, папироса, поэтично не чесаные волосы, гривкой, красненький платочек у шеи. Длительные дружеские визиты, перешедшие в необходимость жениться. Это было такое незаметное изменение в моей жиз-

ни, что я даже не отметил этой даты, лишь пришлось взять четвертый урок.

— К нам часто ходил лохматый Моня, провизор из соседней аптеки. Кажется, в прошлом, друг моей жены. Юбка сменилась на широкий капот и через некоторое время появился на свет сын. Мой сын, — точная копия провизора Мони. Я хотел огорченно сказать жене об этом странном сходстве. Я черен, как жук, а сын рыжий и веснущатый. Но поднялся такой дикий вой и вопли оскорбленной женщины, что я замолчал. Замолчал навсегда, опасаясь этой темы.

— Зачем вы все это мне говорите, — вздохнув, тихо проронила Евгения Николаевна и посмотрела на него сурово.

Он отвел глаза. — Я не люблю жену. Вы знаете, я люблю вас, Евгения Николаевна. Вы не хотите, но я скажу вам дальше. Вы поймете и пожалеете меня.

— Я работал, как лошадь, как вол. Не бывал дома месяцами. Получил место главного инженера, и чем выше поднималась моя карьера, тем отвратительней становилась София Иосифовна. Она забыла, три года несменяемую, мятую юбку, хлеб посыпанный зеленным сыром, для запаха, плохо протопленную комнату. Она забыла все. Дети сыпались, как горох. Если не совпадало с моим пребыванием, объяснялось ранними или поздними родами, а потом, видя мое безразличие, вообще вопрос об этом не поднимался. Кто то появлялся новый в моем доме, уходил, рождались дети, — умирали. Сейчас два отпрыска. Старшая — вылитая мамаша, а младшая — портрет, сына нашего машиниста, Николая.

Он побледнел, встал, закрыл собою камин, в комнате стало сумрачно, и глухо сказал.

— Я жил работой, всего себя отдавал ей и быстро шел в гору. Больше мне ничего не надо. Я получаю огромное жалованье и имею еще возможность, — уехать отсюда. Меня приглашают заграницу. — Я слышал вы разводитесь с мужем. Где то там, в Петербурге, какие то знаменитые адвокаты, безшумно разрывают вашу жизнь. — Он помолчал. — Правда, что вы разводитесь?

— Не знаю, возможно, — улыбнулась она.

— О, Господи! — Схватился он за голову и заметался по комнате.

— Как с вами трудно. Какие вы странные люди, словно из другого мира.

В это время в прихожей что то завозилось, так большой пудель отряхивается от снега.

— А, это ты, Дима? Так поздно, — встретила вошедшего блондина, Евгения Николаевна.

— Возились с плотиной. Мокрехонек. Очень, очень пло-

хо с водой. Плывут на льдинах, на избушках петухи, куры, телята, кошки. Меня мороз подирает по коже, глядя на этих путешественников. Хорошо, если прибьет к берегу все это кошачье и пернатое царство.

— Ну, вот видите, Яков Савельевич, а вы собираетесь бросаться в эту пучину.

— Знаешь, Дима, — обратилась она ласково к мужу, — что может спасти этого несчастного?

— Говори, говори, я готов уже броситься ему на помощь, — разсмеялся Дима.

— Спасти его может, если он и его семья проведут Пасху у нас.

Дима вспомнил ужасную неделю, когда гостила эта семья. Разгромленную квартиру, сломанный будильник, разбитые грамофонные пластинки и рев, неумолчный рев младшего персонажа фамилии.

Нет! Мысленно содрогнулся он, но приветливо улыбнулся. Уши и шея побагровели. Ей стало жаль мужа и она поспешно сказала.

— Есть еще одно предложение, если мы поедем на Пасху к ним, то жизнь Яков Савельевича будет спасена.

— Чудная идея! — пришел в восторг Дима. — Река утихнет и я смогу поручить работу кому нибудь из сослуживцев дня на два, на три. Чудная идея! — повторил он. — И так едем? —вопросительно посмотрел он на жену. — Ну, я пошел снять все эти атрибуты. — И он показал на высокие сапоги.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мягкие рессоры покачивали двух путников. Река успокоилась. Дима в этот день выехать не смог, обещал приехать позднее, к Пасхе. Евгения Николаевна сдержала обещание, ехала в гости. Рядом сидел счастливый и взволнованный Яков Савельевич. После его рассказа ей было жаль эту ломовую лошадь, всю жизнь не знавщую никаких сентиментальных переживаний. Все было так просто. Он не был святым. Шантаны. Подарки. Деньги. И полное незнание жизни, настоящего чувства. И вдруг, «влеченье род недуга». Бодняга. И может быть первый раз в жизни, она внимательно посмотрела на него.

Седые виски, широкий нос, четырехугольная маленькая бородка, коротко остриженные усы, чуть покрывающие ярко красные, припухшие губы. Хромает. Где то слетел с лесов, на постройке. Карие, мутноватые глаза, морщинки кругом. Софья Иосифовна, провизор Моня и, — плечи ея брезгливо передернулись.

— Холодно? — заботливо спросил Яков Савельевич, натягивая плед на колени.

— Да, немножко.

По сосновым мягким иглам пронеслась коляска и остановилась у веранды. Дом был уже полон гостей. Все высыпали встречать.

— Как вы похорошели! Как пополнели! Как похудели! сыпались возгласы...

Ужинали. Хозяина завода за ужином не было. Он жил одиноко, в особом доме, но и в этом доме был его кабинет. Питался он в этом доме, а к себе приходил играть на билliарде, или когда к нему в дом приезжали его личные знакомые.

Евгении Николаевне не спалось. Как в этой разношерстной, гудящей как улей, толпе, можно встретить тихий, семейный праздник. Димитрий едва ли приедет. Сошлется на дела. Они действительно расходились. Расходились, как приличные, воспитанные люди. Без шума, без огласки. Это был очень красивый и нежный брак, по любви. Они любили друг друга и весна их была чудная. Годы летели незаметно. Оба молодые, красивые, со средствами, они много путешествовали по России, уезжали за границу. Венеция. Генуя, Веккио, — притягивали их. Они часами бродили по Риму. Упивались итальянской музыкой и в больших и малых театрах. Любимая в Италии была «Комедия Дель артэ». И Петербург сжигал их время, силы, здоровье своим вечным водоворотом, вечным праздником. Незаметно пролетели года. Остыли сердца. Перестало тянуть друг к другу́. Осталось чувство теплой дружбы, благодарности, за прожитое счастливое время, ничем не омраченное.

Но оба молоды, еще хочется любить, куда то девать не растраченное и страх лжи, которая может убить, обезценить прошлое, заставило этих честных людей искать иной путь. — Разойтись и остаться друзьями, свято храня память о прошлом, а в нужную минуту придти на помощь.

Евгении Николаевне не спалось. Вспомнила, как примитивно Яков Савельевич думал заслужить ея расположение, — он принес дорогой бриллиантовый браслет, открыл футляр, достал его торжественно и пожелал одеть ей на руку. Она послушно протянула руку, полюбовалась, она похвалила.

— Чудесный браслет, жене, ко дню рождения?

— Нет, это вам, — гордо сказал он.

— Мне, — удивилась она, — нет милый Яков Савельевич, я принимаю в подарок вещи только на которые смогу ответить таким же подарком, а этот слишком дорог, мне не по средствам. — Она спокойно сняла браслет и положила его

в футляр. С тех пор кроме конфект и цветов он ничего не дарил.

Так всегда вводила она в русло его прорывавшиеся чувства.

Встала рано, вышла в огромную дубовую столовую, очень стильную, но холодноватую, казенную. Кто выбирал мебель и стил, — подумала она. Оперлась на высокую спинку стула, глядя на разгоравшиеся ярким пламенем поленья в камине. Стол был накрыт.

Вдруг из корридора быстрыми шагами, почти вбежал человек, в коротком бушлате, в перчатке на левой руке и высоких сапогах. Он по пути схватил налитой стакан чая и устремился бежать, глотая чай на ходу, как встретясь глазами с изумленным взглядом Евгении Николаевны, остановился, на ходу сунул стакан на тумбу у дверей, сдернул почему то с левой руки перчатку, — извините, — пробормотал он и исчез.

Кто это? Мелькнувшее лицо было незначительно, очень мало напоминало русские лица, скорее француз, острая бородка, в шесть часов утра в перчатках. Она изумленно покачала головой. Но к обеду эта мимолетная встреча стушевалась, лишь запомнились огромные, ясные, синие глаза и темные брови.

Незнакомец появился за обедом и его отрекомендовали:

— Вот это наш хозяин, владелец завода.

Теперь ей вспомнились не очень доброжелательные отзывы о своем патроне Якова Савельича. Из его рассказов хозяин был страстный охотник, холост, женщин не любит и боится. На уговоры познакомится с той, другой, отговаривается.

— Не понимаю их и чего они хотят, не знаю. В лесу проще. Повадку всякого зверя знаешь, а женщину не понять. Лучше от них подальше, как то спокойнее.

Всегда в перчатках, руки изнеженные, а в ухо кому даст, — помнить будет годами. Бьет редко и за дело. Вот и все, что слышала она о хозяине и что за обедом вспомнилось ей и она изредка украдкой, но внимательно следила за всеми его движениями. Высокий лоб и прекрасные синие глаза в темных ресницах и темные брови, женственная мягкость движений, тихий спокойный голос, необычайная вежливость, — все это не гармонировало с портретом, данным Яков Савельичем о своем хозяине.

После обеда Евгения Николаевна перешла в гостинную и присела к роялю. Красавец инженер подсел к Евгении Николаевне, поговорили о пении, о музыке, спели дуэт «Уймитесь волнения страсти». Ей хотелось петь, смеяться, весе-

литься, она сама не понимала почему. Может быть близость красавца-инженера?

Спел инженер, — «Ах, где моя весна?» Спела она — «Почему так безумно люблю». Спели дуэт «Ночи безумные». Низкое контральто и его серебристый тенор сливались, придавая этому романсу необыкновенную красоту.

И вдруг все решили ехать на моторной лодке. Предложил сам хозяин, чем очень удивил Яков Савельевича, совершенно не ожидавшего от него этого поэтического настроения. Поехали все, кроме Софьи Иосифовны, которая почему то разозлилась, кому то наговорила дерзостей и муж увел ее во внутренние комнаты.

Вернулись лишь поздно ночью, возбужденные, восхищенные этой удивительной ночью, луной, которая купаясь в реке, разсыпалась перламутровыми бликами. Хозяин, причалив лодку, быстро умчался на завод.

Утром рано Евгения Николаевна, прильнувший к ней Колобок и Яков Савельевич сидели за утренним чаем. Хозяин веселый, возбужденный, как хмельной, примчался и сел пить чай. Яков Савельевич удивился.

— Разве там вам не дали?

— Нет, спешил сюда.

— Спешили домой? — еще больше удивился Яков Савельевич. — Вот чудеса! А у нас Софья Иосифовна что то расклеилась, пошли бы приструнили ее, что не хорошо хворать, когда гости...

Хозяин сдвинул брови сурово, и недовольно кинул —

— Вы муж, идите и уговаривайте, а какое же мне дело?! А мы вот сейчас верхами и в колясках соорудим пикник в лес, — и обращаясь к Евгении Николаевне, низко кланяясь, сказал, —

— Теперь вы у нас за хозяйку, будьте добрая к нам, холостякам, — он указал на инженера и молодого доктора, — распорядитесь, что бы все, что вам понадобится, положили, закупорили в корзины и отправили на место пикника, — Средняя Сопка — с поваром и поваренком. Завтракать будем там. А сейчас мы в полном вашем распоряжении, что прикажете делать и как занимать гостей?

Та-ак, подумала Евгения Николаевна,

Лети мой челн по воле волн,
Куда влечет тебя судьба...

Софья Иосифовна не выходила из своих комнат. Положение гостей становилось неловким. Приехали с пикника к вечеру и обедали наскоро. Устали приятной усталостью. Хотелось добраться до постели. Евгения Николаевна, пока кон-

чали обед пошла в гостинную к роялю и тихо, тихо перебирала клавиши.

«Я тебя безконечно люблю», вдруг тихо произнес чей-то голос, почти шопотом. Евгения Николаевна слегка повернула голову — хозяин.

— Вы что то сказали, — не подумав, произнесла она. Он громко отчетливо сказал:

«Я тебя безконечно люблю» —

— Хорошо, спою, спокойно ответила она и запела. Подошел инженер. В столовой пустело. Кто то еще допивал крюшон, ликеры, кофе. Спорили о преимуществе узкоколейных заграничных железных дорог перед ширококолейными российскими. Спор разгорался. А трое вышли в сад. Инженер, хозяин и Евгения Николаевна. Там, бродящих в лабиринте, застала их темная весенняя ночь.

В душе Евгении Николаевны что то пело и ликовало, а спросить что, она бы не сумела ответить, и сама не знала... В первый раз она подумала, как хорошо, что нет Димы. Был бы он и не было бы этой ночи. И в первый раз она сказала уже без сомнения и колебания, —

— как хорошо, что мы разойдемся, без упреков, колкостей и взаимных обвинений.

Пасха прошла. Гостей осталось мало. Красивый инженер упорно жил в доме хозяина, и в большой дом приходил, как в гости.

Софья Иосифовна хищной нахохлившейся птицей, ищущей жертву, сидела за столом. Было тягостное неприятное чувство. Дима извинился, что приехать не мог и обещал приехать завтра. Евгения Николаевна порывалась уехать, но трое, хозяин, инженер и Яков Савельевич удерживали ее.

— Как же можно уехать, если муж завтра приедет.

Утром нагрянула целая орава охотников. Якташи, патронташи, ружья, лакей Митька разрывается на части. Кабинет завален всякими охотничьими принадлежностями. Митька орудует во всю, а хозяина нет, как нет. Нигде найти не могут. Напрасно звонят телефоны по всем мастерским, хозяин исчез. Куда?

Евгения Николаевна после утреннего чая сбежала от кислой физиономии Софьи Иосифовны, и по ее приказанию, кучер Василий подал коляску, и пара серых помчала ее к лесу.

У забора стоял хозяин, страстный любитель кровных лошадей смотрел как выводят конюха рысаков. Увидя коляску, он разбежался и на ходу ловко вскочил на подножку.

— Можно? спросил он.

— Поздно спрашивать, раз вы уже здесь.

А Василий, дивясь — что за чудеса творятся с барином — поддал еще жару лошадям.

К завтраку запоздали и, вернувшись, узнав о приезде охотников, хозяин ужаснулся, как он мог забыть, что назначена на сегодня охота и понаехали званные гости, именитые охотники. За завтраком ругали его, упрекали, но не очень, так как завтрак удался на славу.

Столовая гремела охотничьими рассказами. Всякий старался припомнить какой нибудь необыкновенный случай, но самое необыкновенное все рассказывали о самом хозяине, как он набивал по двести, триста штук всякой дичи. Глинтвейн, пунш, и синий огонь подогревали эти рассказы и чем больше слушала их Евгения Николаевна, тем тяжелее становилось у нее на душе.

Жуткая компания, — думала она. — Сколько птицы, зверя набьют и искалечат они. Ей стало тошно от этой мысли. Не пущу, — подумала она, вспомнив, как за завтраком говорили, что хозяин один набьет столько, сколько все четырнадцать человек вместе. Охотничья страсть, страсть непобедимая. Но попробую, решила она. Пошла в свою комнату и легла на кушетку. Подкатила «Колобок».

— Ты что, тетя, лежишь. Дай ка лобик, — и серьезно положила пухлую ручку на лоб Евгении Николаевны.

Та взяла рученку, поцеловала и «Колобок» прижался щекой к ея щеке.

— Мама тоже больна, на голове пузырь. Хочешь я тебе пузырь принесу?

— Нет, у меня другая болезнь. Принеси мне градусник.

«Колобок» смоталась живо и принесла термометр.

— Скажи Жене, пусть даст мне стакан горячего чаю с лимоном.

— А-а-а, знаю теперь какая у тебя болезнь, — и радостно помчалась. Женя принесла чай, а «Колобок» коробочку с пилюлями касторового масла.

— Сладкие, ты сразу глотай, а то жувнешь, там невкусное масло. Глотай и чай с лимоном пей, глотай скоро, — командовала девочка.

— Спасибо, «Колобок», а теперь иди, я буду спать. — Говорила, а сама чутко прислушивалась к шагам в корридоре.

Ея комната была в прежней детской и отделена длинным корридором от столовой и всех других комнат, чтобы шум не достигал до детей. «Колобок» выкатился.

Послышались издали гулкие шаги.

— Кто? Неужели Яков Савельевич. Вот несчастье! Может быть инженер?!

Вошли «Клобок» и хозяин.

— Вы что же это, хворать? Господи, да у вас температура, щеки горят, глаза блестят. — Он схватил лежащий на столе градусник, его Евгения Николаевна только что вынула из стакана с горячим чаем.

— Да температура уже за 40! Глаза его зажмурились от ужаса. И было от чего! Ртуть перелезла за все пределы жизни. Он помчался звонить доктора. Вернувшись, сел у дивана. «Колобок» примостилась на диване. Пришла фельдшерица. Хозяина попросили уйти. Евгения Николаевна просто сказала этой славной девушке:

— У меня это бывает часто. Высокое давление. Не волнуйте никого. Уходите корридором налево, прямо в сад.

Ворвался Яков Савельевич.

— Ну что вы скажете! Он уже не едет на охоту. Посылает меня с этой ордой. Да они меня самого подстрелят. Почему неудобно? Ну приехали, могут поохотиться и одни. К обеду вернутся, пусть сам едет, а я с вами посижу. Фельдшерица сказала, что вам уже лучше. — Он забрал руки Евгении Николаевны и не выпускал. Ну да, лучше. Руки совсем холодные.

— Яков Савельевич, нехорошо, там гости. Они одни, а вы у меня сидите. Возьмите «Колобок» на руки и уходите.

Он вздохнул и ушел. Вошел хозяин.

— Вам лучше. Слава Богу. Я уже распорядился, все хорошо. Только бы вы поправились. Фельдшерица сказала, вам лучше.

— Да, лучше, — томно произнесла Евгения Николаевна. Поезжайте сами на охоту, вы так любите и друзья обидятся, уговаривала Евгения Николаевна. В ней заговорил спортсмен, — кто победит? Наконец, он согласился, поедет. Действительно не хорошо, — назвал гостей, месяц все готовились к этому празднику поохотиться с ним, и мало того, что забыл, еще одних на охоту отправляет. Конечно, обидятся. Он ехать должен. Убедившись, что жара в руках меньше, он вышел.

Шум на дворе затих. Крики, возгласы доносились теперь до Евгении Николаевны издалека. Она встала, подошла к окну. Хозяин верхом сидел сутулый, скучный. Плелся позади всех. Вот уже мелькают за околицей и вдруг галоп и хозяин остановился у веранды. Сердце у Евгении Николаевны дрогнуло. Взлетело птицей, птицей метнулась и она к дивану и легла. Что то будет? забилось в ней тревожно.

Он вошел, взял руку прижал крепко к губам, не целуя, словно проверял температуру.

— Вам лучше? Правда? Лучше?

— Совсем хорошо, — радостно сказала она.

— Так поеду...

Через час он вернулся, на этот раз совсем.

Победа, ликовала она. Сегодня не будет рассказов, что он убил 200-300 штук сам, один.

Охотники вернулись к обеду. Ворчали.

— Какая без тебя охота, чего уж там, нет без тебя охоты. Знали бы и не ехали. Чего там у тебя на заводе случилось, что ты вернулся? Домна*) что ли убежала, — острили его друзья.

Вечером, как всегда, Евгения Николаевна, осмотрела у двери своей спальни шпингалеты на дверях, села не раздеваясь и не зажигая огня в кресле у стола и стала думать. А задуматься было над чем. И вдруг увидела, как окно из сада тихо открывается и чье то тело перебрасывается легким броском в комнату, через подоконник. Кисейные густые занавески зашевелились. Собрав все мужество, чтобы не закричать, Евгения Николаевна спокойно сказала —

— Входите, милости просим, и осветила комнату. Хозяин! Слава Богу, могло быть хуже, развеселясь подумала она. Пожалуйста входите, вы у себя дома. Садитесь.

Он бормотал что то невнятное, с трудом можно было разобрать.

— «Только на минутку, Софья Иосифовна сказала, что обещали...»

Из ералаша его слов, Евгения Николаевна, ничего не поняла. Слова, как бы играя в чехарду, прыгали одно через другое в его дрожащих губах. Видя его состояние, она спокойно говорила, — какой сегодня чудный воздух. это потому, что пал легкий туман. Восторгалась лабиринтом, таким загадочным в этом тумане и видела, что он сейчас, сейчас заплачет. Поговорив минут двадцать, она спокойно сказала.

— Ну а теперь пора спать. Ведь уж наверно далеко за полночь. Досвидания, Сергей Петрович, — протянула ему руку, взяла его, неподвижную, и крепко пожала, повторив, — досвидания, я буду рано пить чай в столовой. Она выпустила его руку и он машинально пошел к окну.

— Нет, зачем же, — остановила она его спокойно. Вы выйдете через дверь, как почетный гость, а не как тать, через окно.

За завтраком она попросила, чтобы к вечеру приготовили лошадей. Она едет домой.

— А муж?

— Ему я дала телеграмму, а если разминется телеграмма с ним, то он поиграет, как обычно, с вами на биллиарде и вернется домой.

---

*) Большая доменная печь.

Софья Иосифовна сидела, как варенный рак. Яков Савельевич, инженер и хозяин умоляли обождать Диму. Подъехали два начальника участка, с семьями и день мелькнул, как минута, разсеяв вопрос об отъезде. Но к глубокому огорчению всей компании, Евгения Николаевна, настояла на своем и вся компания провожала ее на 9-ти часовой экспресс.

Когда она вошла в купэ, то удивилась.

В купэ у нее сидела Софья Иосифовна.

— Но ведь поезд тронулся, ведь мы уже едем, — воскликнула Евгения Николаевна.

— Да, я еду в город, с вами.

Разговор не вязался. Обе взяли книжки. Стемнело. За поездом плыла луна, освещая купэ. Электричество не зажгла ни та, ни другая.

Евгения Николаевна растянулась, не раздеваясь, на диване. Пришел проводник. Она отказалась от постели. Софья Иосифовна сидела у окна и то же не пожелала постели. Их разделял только столик. Поезд с грохотом несся по серебрянным полям.

— Евгения Николаевна, отчего вы отказались от любви Сергея Петровича, — прервала молчание Софья Иосифовна. — Это я посоветовала ему поразить вас внезапностью порыва.

До сих пор, как будто дремавшая, прикрыв глаза, Евгения Николаевна, чуть не расхохоталась, услышав «внезапностью порыва». Бедный Яков Савельевич, он прав, подумала она.

— Как видите, Софья Иосифовна, внезапность порыва, и вообще тонкие чувства и ощущения, видимо не для моей прозаической натуры. Я их не чувствую.

— Но ведь он богат, красив. Чего же вам еще? Вот вы разводитесь, ведь это клад такой человек. Чего же вам еще?

— То есть как, — удивилась Евгения Николаевна, «чего еще?»

— Ну, не жениться же ему на вас.

Евгения Николаевна даже сбросила ноги и села на диван. Хлопнула себя по лбу ладонью и восхищенно воскликнула:

— Представте! Я об этом не подумала! Ну где же найдешь еще такого мужа. Молод, богат, красив! Нет, вы решительно гениальны, дорогая моя Софья Иосифовна. И как это мне не пришло самой в голову. Ну, а теперь спать, спать, спать. Мы полуночницы с вами, не жалеем себя, болтаем, а вы только что хворали.

И она снова протянулась на диване закрыв глаза.

Спали ли они обе в эту ночь?

# СТАРУШКА

Бежит, бежит тропиночка. А по тропиночке ковыляет старушка. Черный платочек с белой каемочкой, сухое добродушное лицо, ласковые старческие глаза внимательно глядят вдаль. А тропочка вьется, то среди полей, то по темному лесу.

Вышла на большую дорогу. Едет кто-то. Посторонилась, стала у обочинки.

— Куда, бабушка, путь держите? — раздался приветливый голос.

Трое мужчин сидели в экипаже, спрашивал тот, который правил, попридержав лошадь.

— А вот домой, родимые, хочу попасть, в сельцо Жихарево. Прямехонько туды. Говорят, большевиков-то похерили. Быдто парни заводские чевой-то смутились, не пондравилось им, пришли быдто на квартиру к большевикам и прекратили их. Ну, быдто не досмотрели и большевики много тысяч украли, да это пустое. Благо, иконы-то целы. Прямехонько к Иверской Божией Матери пойду приложиться. Допустил бы только Господь Бог перед концом моим, уж очень я древняя, а вот ноги-то несут и несут...

— Очень уж вы, бабушка, занятная, садитесь подвезем.

Бабушка ловко вцепилась сухой ручкой в облучок и деликатно заняла крохотное место около кучера. Она внимательно оглядела его, с бочка, и деловито спросила:

— А вы по найму кучером, или так, в охотку?

— Все мы трое тут равные.

— Значит, все трое господа, — спокойно решила бабушка, — ну, так уж, без сумления, скоро доедете.

— Кто же вам поршеньки такие сочинил, вроде лаптей?

— А сама, батюшка, сама, из веревочки.

— Так говорите, идете в сельцо Жихарево?

— В Жихарево, батюшка, в Жихарево, Псковской губернии, Холмского уезду, Лусано-Бросенской волости, имение господ Вомелкиных.

— Вы просто анахронизм, бабушка.

— Нет, батюшка. Фамилия моя Волосова, по причине, густые волосы были у деда моего, шапкой, не прочесать, а как острижется, так дыбом и встанут.

— Что ж вы думаете делать в сельце Жихарево? Думаете, кто-нибудь из живых остался из родни?

— Едва ли, на все Божья воля, родимый, — вздохнула старушка. — Посижу у родных могилок, поплачу, вспомню долю девичью, привольную жизнь в господском доме. Бабка-то

моя, крепостная была. Выучили ее в городе, Холм город прозывался, вышивать бисером и шелком по парче. Вот однажды к нам приехал предводитель нашего уезда, господин Объедов, важный господин. Увидел чего она вышивает и просит нашу барыню:

— Уступите мне Федосью-Козу.

— Да што же уступать, она давно вольная. А, что вам интересно в этой старушке?

— Да она церковь украсит своими вышивками, что твой го-бо-лен.

Старушка с трудом выговаривала го-бо-лен, видимо тщательно заученное слово. — Ну, поехала Федосья, чтобы послужить церкви, а потом опять вернулась к старым господам. И, слепая почти, доживала свой век в господском доме. Потом, барышня Наденька вышла замуж, меня вместе с ней определили ехать в Москву. — Старушка замолчала.

— Ну, а в Москве-то хорошо было? — не выдержал Петр Константинович, обрадованный услышать о Москве. Им изрядно надоели все эти беженские споры, разговоры о жеванном и пережеванном, и старушка из села Жихарево показалась свежим предутренним ветерком, шевельнувшим после ночи листву, повеяло прохладой родных полей. Чем-то давно не слыханным...

— А, как же, батюшка, — всполохнулась старушка, — очень хорошо жилось. Бывало барыня, с сестрицей ихней, пойдет покупать к Пасхе, ну чисто дрожек не видать, сколько накупят всякой всячины. Ну и окорока были, нигде опосля я таких не видала! — Старушка замолчала.

— А барышни были у нас! Две барышни. Сынки-то поумирали. Да и слава Богу! Нагляделась я тут заграницей, на генералов-то. Нет слаще родной стороны. А на чужбине, либо ловчись, либо горе мыкай...

Петр Константинович толкнул локтем Иван Семеновича, — вот она, мудрость-то, народная, в двух словах живописала наш быт.

— Барина нашего вызвали в Петербург. Значит, это столица, — важно пояснила старушка. Петр Константинович усмехнулся в горсточку.

— Ну, там уж, не как в Москве. Жили мы в Москве на Малой Никитской. И тебе сад, и палисадник, в саду-то были чирешни, вишенье, яблоки, груши, а в палисаднике — ягода, да цветы. Рай, чистый рай. А в Петербурге-то, жили на Сергиевской. Большия хоромы, ковры, картины. Ну, покуда дети малые не учились, с гувернантками, почитай половину года,

в имении Жихарево жили, а барыня, Надежда Андреевна, дай-то ей Господи, Царство Небесное, в Париже, у нехристей померла она. Для стариков, да старух отделила 500 десятин земли. Еще молодая была, а как горе людское понимала, быдто вперед видела, что горького горюшка самой хлебнуть придется...

Старуха пожевала губами.

— Усадьба Жихарево стояла на горке, аллеи да сад вокруг, а через дорогу сопка, сосновый лес. Дорогу перебежишь, грибов наберешь в минуту, целую кошолку. А с другой стороны дома, большой балкон и широченная лестница во весь балкон, в сад. И любила Надежда Андревна Божие дерево, кругом балкона его ветки так-то красовались, мохнатыя, духовитыя. Ох, и хорошо наше Жихарево! А от балкона, косогором, к озеру Либину, дорожки, как шпалеры малины белой, черной, желтой, красной, черная смородина, крыжовник большущий. В агромадных тазах варили в саду варенье... — Старушка задумалась.

— Вот верно Пушкин туда и водил своего Онегина, — сказал Петр Константинович, обернувшись к Ивану Семеновичу.

Старушка подумала.

— Чтой-то таких не упомню. А часто бывали господа фон Цурмюлины, Объедовы, Бряновы, Дирины, — и бабушка назвала с десяток и больше фамилий. — Много приезжало господ. Наши господа-то были хлебосольные, и лошадям, не токмо, что самим гостям, отменная пища была, лучший овес, сено, уход, хоть месяц живи, не поперхнутся, не пожалеют... Приезжали молодые кучера, нарядные, поддевки бархатныя, рубахи атласныя, что маки, аль васильки цветистыя. На шляпах павлиньи перья. Гармони у нас заливчатыя, девки от вольной жизни, песельницы. Уж до ранней зорьки, бывало, пляшем и поем, как понаедут гости. Ну и господа тоже не скучали. Разныя там представления, огни пускали вверх, что твоя мельница, — закрутится и горит, сыпет огнем. По перву-то мы боялись, — село сожгут, потом приобыкли. Очень любили господа ездить с гостями на комлях по озеру Либину, на ту сторону, там господа устроили жилище для старых слуг. Там жила слепая нянька Настасья, слепая Федосья-Коза, Угорь, худющий мужик. Человек 12, может больше, старых, калек. И там им был дом и земля, сами засевали, сажали. Чего не хватало — давали господа.

— Давно ли вы, бабушка, из родных краев?

— Ох, давно, давно, родимые, и такая тоска. Вот ничуть не привыкла и до того домой захотелось, сплю, и вижу, как

будто вчера была дома. Вот господская усадьба. И круглый то год, мы, хрестьяне, значит, около той усадьбы крутились. Всегда-то нам была работа, и какой харч. Все девки по весне знали, — вот зацвело вишанье, и не видать ни дома, ни скотного двора, ни служб, все, как белорозовым покрывалом закроет, а нам радость. Сейчас с господского дома прибегает Зинка, горничная ихняя, и кричит — девоньки, собирайтесь, сетками вишенье покрывать, чтобы воробьи ягоды не поклевали. Ну и идем гуртом, работа легкая, платье на нас, как на праздник, не замараешься на такой работе. Ну и пели, ох, уж как пелось, заводиловкой была я, что твой соловей. Поем песни и барыня с нами молодая. До полдень и незаметно, как время скатися, — тут тебе обед. И говядины ешь до отвалу, и квасу, пива черного, сколько хошь. И старикам работа — сети плести для вишенья, а поспеет ягода и-и-и-и, Господи, сколько радости, опять же мы, девки, собираем и ешь, сколько душа примет. Принесем господам грибы, бруснику, — за все живыя деньги, да и бусы, и платочки, все перепадало. И старикам тоже работа, гряды полоть на огороде, а там морковь, репа, горох приспеет, всю зелень в свое время собирать, там капусту шинковать, рубить, солить, грибы мариновать. А грузди! Груздочки махоньки. Боже, Милостивый!..

— И был у нас учитель Эдуард Иванович. Так хорошо играл на скрипке, ну просто невозможно, как заиграет и запоет:

Снеги белые пушистые
Призакрыли все поля,
Одного вы не закрыли, —
Горя лютаго моего.

— Барыня видит, как он заиграет, а я плакать. Убегу к себе в комнату и пою эту песню и все сердце надрывается. Барыня и сказала учителю, — обучите Настю петь, голос у нее хороший. Ну спасибо, научил меня петь.

Над серебрянной рекой,
На златом песочке,
Долго девы молодой
Я искал следочки.

И бабушка ровным голосом с чувством тихонько выводила мелодию, закрыв глаза. Спела она и «среди долины ровныя», а потом замолкла и долго смотрела молча вдаль.

— А началась война, уехал мой Эдуард Иванович, не знаю куда. Ну, случилась беда, все помутилось, все куда глаза гля-

дят поехали. Господа мои были хорошие, отстать от них было жалко, подумала, поеду и я в заморские места, может Эдуарда Ивановича увижу. Так с ними и пустилась в путь-дороженку, а в чужих то краях горе-горюшко хватили через меру. Так то, баринушка.

А баринушка слушал. Трусила мелкою рысцою лошадка. Так перемежались дни и ночи, за разговорами то и незаметно.

— Ну, что же господа, пути осталось немного. Мы у цели. Куда едем сначала?

— В Кременчуг!

— Почему в Кременчуг?, — возразил другой. — По моему в Златоглавную и тщательно очистить Авгиевы стойла в Кремле.

— А я, за Петербург! Сначала в Петербург. Боже, какия воспоминания!

— Ну знаете, о воспоминаниях надо забыть. Новая жизнь, цели, надежды, работа, вот что впереди!

— Нет, нет, обязательно в Кременчуг.

Старушка тоскливо слушала эти споры. На ранней зорьке, чуть свет, на постоялом дворе, старушка пошла попрощаться с лошадкой. Ласково поцеловала в мягкия губы, покормила хлебом, лошадка радостно пофыркала.

— Прощай, родимая. Довезла ты меня, без малаго, до самого дому. Хороший народ твой, седоки, ну только большие спорщики. Ведь домой едут, так еще успеют наговориться там. А теперь ехали бы, да ехали поскорее, а там и на Кременчуг, и на Питер, и на Москву, на все время хватит, только бы на родныя земли попасть.

Перекрестила старушка лошадку, вошла в избу, перекрестила спящих спутников, положила земной поклон перед иконой Божией Матери, подтянула лямки на хотуле и пошла потихоньку обочинкой...

На станции Горелово, наши путники, покинув бричку, вошли в вокзал и первое, что они увидели, — старушка разговаривает с каким то чином, — не то городовой, не то сторож, тот ей рукой показывает вдаль. Старушка кляняется, благодарит, и повернувшись, натыкается на знакомыя лица.

— Отцы родные, милые вы мои, вот радость то! — И она хотела броситься на шею, но степенно остановилась. — Ну уж и радость, не чаяла вас видеть больше, благодетели вы мои...

— Куда же вы, бабушка, теперь направляетесь?

— Да в Жихарево же, сельцо Жихарево, как говорила вам.

— Ну, по первоначалу, и мы с вами туда же, а там разберемся.

— Ну, Слава Тебе Господи, вот мы и дома! ! !

# «ОСЕНИ МЕРТВОЙ ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»

Он проснулся, потянулся, расправил застоявшиеся члены и мускулы и вспомнил, что прочел на ночь что-то интересное в газете и, надорвав газету на этом интересном, бросил у постели. Протянул руку к брошенной газете, поднял ее, прочел и иронически усмехнулся. Однако, погодя немного, стал читать снова.

«Тоскующая душа ищет встречи или переписки с такой же тоскующей душой, уставшей от одиночества, чтобы разделить горе и радости и вдохнуть недостающую бодрость».

Бодрость, конечно, в упадке, подумал он. На то и на шестой десяток здорово перевалило. Но разделить вероятно пожелают, главным образом, мои триста долларов жалованья и, не найдя достаточно бодрости, месяцев шесть спустя после брака, найдут существенные недостатки и согласно местным законам, примерно, муж не выговаривает букву «Р», или что-нибудь в этом роде, потребуют развода, конечно, охотно разделив мои триста долларов. Сто пятьдесят долларов в месяц, получить не за блин, — это не плохо. Он, продолжая лежать, держал газету на животе, размышляя.

Конечно, может быть это излишний скептицизм, может быть действительно вдвоем легче переносить невзгоды. Может быть, стоит ответить «тоскующей душе»?

Так он продумал дня три-четыре. Решил, — напишу. Ведь не потащат же меня насильно, как быка за рога, жениться. Посмотрим, поговорим. Может быть, действительно тоскует, одинока. Он сунул ноги в туфли, быстро пошел к столу и, не теряя времени, стал строчить письмо. В зеркале, вделанном в овальную раму, на столике, он увидел помятое лицо, опухшие веки, резко выступившую за ночь, рыже-седую щетину.

— Фу, какая мерзкая рожа, — подумал он, а ведь побреюсь и даже не дурен, как приоденусь, — и рука, приостановившаяся было писать ответное письмо, от огорчения увидев в зеркале столь противное отражение, снова бодро стала строчить о сочувствии, тоске одиночества, мечтах, возвращенной молодости, конечно, не в тех пропорциях, какая была лет 8-10 тому назад. Писала о бодрости, красивых майских, душистых, теплых ночах, в летнюю пору. Как отрадно рука в руке бродить по пляжу, когда уже все спит и только счастливые бродят, слушая морской прибой. Если она еще одна и душа ее тоскует, пусть напишет день, час, место встречи.

Сначала он решил написать свой адрес, фамилию и вдруг остановился.

А, если какая-нибудь мошенница, шантажистка. Не лучше ли написать место встречи, — приду с хризантемой, или с гвоздикой в петлице... Конечно, лучше сделать сначала так, а фамилию, приглядевшись кто она, скажу после.

И вдруг ему вспомнилась история с его другом. Жил-был инженер. Пожилой человек, вдовец. Небольшой уютный домик на окраине города, вроде дачного места. При доме сад. Сам он часто прихварывал. Зарабатывал он немного, но жил спокойно, тихо. Было одному немного скучно. Сдам комнату, будет компаньон, поиграем в шашки, шахматы, перекинемся в картишки. То я за ним похожу, если захворает, то он за мной, если захвораю я. И он себе уже ясно представил человека, лет 60, интеллигентного, тихого, услужливого, покашливающего и шлепающего туфлями по утрам, спускаясь сверху к чаю...

Увы, — судьба послала даму, прочитавшую воскресное объявление в газете и явившуюся снять комнату у «одинокого».

Петр Петрович был смущен, — мечты о товарище дней суровых, «вместе покурим», «вместе чайку попьем», как-то рушились. Дама сложения была могучего. Костиста, непомерно широка в бедрах, лицо скуластое и довольно противное, как определил смаху Петр Петрович.

— Извините, вина моя, — смущенно говорил Петр Петрович, — я предполагал пустить в комнату мужчину, поэтому написал в газете «у одинокого», никак не думая, что придет дама, — и он объяснил подробно, на что рассчитывал...

Дама всплеснула руками.

— Боже мой, так в чем же разница?! Мы будем также с вами играть в карты, шахматы, шашки... Но, впрочем, если... дама вздохнула, — то, конечно, — и она опять глубоко вздохнула... Ах, опять поиски комнаты, — а я так устала, — и она таким грациозным верблюдом склонилась к спинке стула, замерев, а запавшие глубоко острые глазки, незаметно наблюдали за эмоциями Петра Петровича. — Ну, я пойду, — после паузы сказала она, — не двигаясь с места.

— Не-е-т, что же спешить, раз вы устали. Отдохните, выпьем чаю. Прислуги у меня нет, но я сейчас закипячу воду, — посидите.

Эх, слюнтяй, раскис, разжалобился, вот теперь и вари ей чай, еще кофею, и яичницу предложи, слякоть несчастная, от всего сердца обкладывал себя Петр Петрович.

Но верблюд оживился, и, перегнав Петра Петровича, очутился в кухне первым. Опытным глазом охватив хозяйство, она нашла нужную кастрюльку, вскипятила воду, заварила чай, налила в молочник сливки, нарезала лимон, колбасу, хлеб, масло, сделала бутерброды, и, накрыв стол салфеткой,

уютно установила все и они напились чаю. Унесла все на кухню, перемыла посуду и, справившись в каком часу Петр Петрович завтракает, приготовила к часу дня свиныя котлеты с картофельным пюре и салатом, найдя все нужное в леднике...

Ну, поела, и иди, — подумал Петр Петрович. Может быть дать ей за работу два доллара, но увидел, что дама уже отправилась в сад и, присев на корточки, стала копаться в грядках с клубникой, потом в цветах, что-то полоть, подвязывать...

Худыя лопатки, тяжелый хребет ходуном ходили от усердия. К семи часам дала на обед суп-лапшу и сладострастно обсасывала куриную ногу.

— И куда в нее лезет, — думал Петр Петрович, глядя как от курицы и от большого хлеба не осталось почти ничего. Дессерт был, собранныя ею ягоды в саду, с молоком. Она вымыла посуду и скромно спросила, — где бы ей лечь спать?

Смущенный Петр Петрович нерешительно ответил, —

— Да разве, вот в комнате, для квартиранта, там постель. А больше негде. —

Ах, дурак, кисляй, — ругал себя Петр Петрович. Ведь вотрется, не выживешь.

Ему не спалось. Он пошел в ледник взять воды, выпить с лимоном. После жирного супа хотелось пить, и увидел, что ледник почти пуст, — курица, котлеты, огурцы, сардинки, картофель, сливки, масло, — все исчезло. Провиант, заготовленный на неделю, исчез в один день.

Утром рано вышел в сад и удивился, — куртины с цветами, кусты, ягоды подчищены, подвязаны и поставлены тычинки.

Дама появилась утром в пленительно фантастической красной блузке, с огромным декольтэ, обнаружив страшную гусиную кожу, с морщинами, волной спадающими от шеи вниз. Жилистыя тощия руки обнажены почти до плеч. Подвязав передник, она энергично работала на кухне: мыла, чистила, выстирала два полотенца и повесила в саду на кусты.

Напились чаю и она, вымыв посуду, исчезла.

Слава Богу, догадалась сама, ушла, — радостно подумал Петр Петрович. Увы, к завтраку она вернулась со сверточками. Он молча изумленно смотрел, как она достала хлеб, яйца, ветчину, мясо, масло и мелочь. В сторону отложила маленький сверток и вчерашнюю воскресную газету, по объявлению в которой, она и пришла сюда.

Это мой багаж, — скромно пояснила она.

Значит она не работает, подумал Петр Петрович. Ну и ну! И решил, — вот навязалась чертова кукла! Выкурю. Обязательно выкурю! Но в течение нескольких дней он никак не мог придумать, с чего начать, чтобы выкурить ее.

Он прихворнул, она ставила ему припарки, банки, мазала какой-то дрянью, поила горячим молоком. Иногда брала у него деньги, но он понимал, что она тратит и свои и находил это естественным, — она занимала комнату для квартиранта, ела за троих, ненасытно...

Вещей у нее никаких не было. Как она жила, где она жила до этих пор, было непонятно. Все это ему было неприятно, особенно мутило его от ея калеченных ног, кости выпирали из прорезных туфель во все стороны. Выкурить ее ему не удалось.

Он часто хворал, работал мало. Гнет от нее был такой, что он готов был повеситься и хворал он потому, что она готовила всего массу и съедала. Ему было обидно, деньги идут, а ест она одна и он старался есть, хотя и знал, что это ему вредно.

Как случилось, он и сам не знал. Темными тоскливыми вечерами, сидя с глазу на глаз, она приучила его от скуки выпивать. И вот случилось... И теперь он понял, что ему уже отвязаться от нее невозможно...

Прошла ужасная нудная зима. Соседи ее не взлюбили и никто к нему не приходил. Обычно раньше, в долгие зимние вечера, заходили к нему на огонек, а теперь при встречах, на его упреки и приглашения, отговаривались нездоровьем, недостатком времени. От прежних забот ея о доме, не осталось и следа. Делать они ничего не хотела, злая, тупая, ходила по дому, по саду, кое-как кормила его. Он опустился, перестал бриться по несколько дней, ходил неряшливо одетым и удивлялся на себя, как он опустился...

Осенью, когда предстояла опять долгая тоскливая зима, однажды она подсела к столу и швырнула ему кучу счетов из лавок.

— Вот это то, что мы с вами съели за зиму.

— Позволь, милая моя, но ведь ты же брала и у меня деньги, откуда же такая масса затрат?

— Ты прекрасно знаешь, что я платила своими деньгами, — взвигнула она диким голосом, — и ты должен мне заплатить, заплатить все, что потрачено мною и ты заплатишь!!!

Перепуганный этим страшным визгом и ее ощерившимся лицом, несчастный Петр Петрович, чтобы избежать скандала, выдал вексель. К сроку денег не заплатил и дом с садом перешел к ней...

Вспомнив эту махинацию с его другом, Степан Васильевич решил фамилию не писать, а подумав еще, смял письмо и бросил в корзинку. Но объявление не выбросил и часто перечитывал на сон грядущий.

— А может быть и хороший человек, действительно оди-

нока, думал он. И вспомнилось ему, как лет 6-7 тому назад, он жил в меблированных комнатах. Длинный коридор, по девяти комнат с каждой стороны. Было казарменно скучно. В коридоре были четыре ванны и всякия удобства и приходилось по утрам часто видеть соседей, спешащих занять ванну. Иногда он встречал двух дам, — одна постарше, другая помоложе. Он почему-то прозвал их «Саша с мамой», хотя разница на вид была лет пять. Обе очень худенькия, стройныя, волосы седые бесцветные, всегда в темном. Темные глаза младшей с каким-то молящим горьким выражением, останавливались на нем, когда он почтительно кланялся и оне отвечали поклоном и бледной улыбкой.

Весенним вечером, он, усталый после дружеской пирушки, вернулся домой. Пирушка не была еще закончена и было условлено, что немного отдохнув, они снова соберутся позднее, закончить празднество в ресторане. Условились, что ему позвонят и он немедленно приедет в назначенное место. Сбросив смокинг, расстегнув жилет и сняв галстук, он прилег на кровать. Дверь в коридор, где был телефон, он оставил открытой, чтобы слышать звонок телефона, взял книгу в руки и провалился в бездну.

Приснилось ему, что большой лохматый пес подошел к кровати и лижет ему руку, а он так ласково треплет и гладит его кудлатую шерсть. Он стал просыпаться, но еще в полусне, продолжая гладить собаку, он спохватился, — был ли звонок, и увидел, что у кровати на коленях стоит «Саша», его рука гладит волосы «Саши», а его другую руку она целует и обливает слезами. Еще плохо соображая в чем дело, он сбрасывает ноги с кровати, спешно старается застегнуть жилет, мелькает мысль, — западня, попался! — старается привести себя в порядок и резко говорит, —

— Как вы попали? почему вы плачете?

— Я так одинока. Мне так тяжело, — не сердитесь. Я увидела дверь открытой, вы спите, я вошла, потушила свет, хотела приласкаться к вам и уйти, чтобы вы даже не знали о моем визите.

— Был звонок или нет, вы не знаете? — равнодушный к ея рассказу спросил он, успокоившись, что никакого подвоха нет и никакая опасность не грозит.

— Нет, звонка не было. — Она встала и выпрямившись вышла в освещенный коридор. Ея тонкая фигура мелькнула быстрой тенью и скрылась. Резко зазвонил телефон, вывел его из раздумья о просшедшем и он спешно поехал продолжать прерванную пирушку. Он был моложе и не задумывался об этом происшествии. Но сейчас, вспомнив о нем, подумал, — ответить стоит. Может быть, она действительно

одинока и он решил написать письмо. Он написал все то, что было написано в первом письме, брошенном в корзину. Но свидание в ресторане назначил все же с «цветком». В газете ответа не последовало...

— Рохля, ворона, проворонил, вот и сиди, — укорял себя Степан Васильевич, — наверно кто-нибудь перехватил.

Теперь в газетах после политики он внимательно рассматривал объявления, в надежде найти что-нибудь оригинальное, интересное. Но все объявления были банальны, однообразны, как пара заношенных туфель. И вот, наконец!

«Я одинока, я люблю Чайковского, Шопена, Штрауса, Вагнера. Не терплю — Дебюсси, Прокофьева, Скрябина и вообще новаторов. Я люблю Тургенева, в некоторых произведениях Толстого Льва и Алексея. Лермонтова, Фофанова. Говорю люблю, т. е. готова читать и слушать бесконечно. НЕ люблю, — значит не хочу слушать и читать никогда. Перечень нелюбимых — долог, начиная от Горького и значит все, что в его стиле. Пишу, чтобы потом не было семейных недоразумений, их я не терплю. Уйду молча, не объясняя причин, в случае их возникновения. Одинокая».

— Вот это женщина! — восхищенно воскликнул Степан Васильевич. Быстро накатал прочувствованное письмо, подписавшись полным именем и фамилией.

Встреча состоялась в парке. Зашли в Зоологический сад, посидели на веранде. Она красиво помешивала ложечкой в чашке и задумчиво смотрела на Степана Васильевича. Он тоже высказал что любит и вполне согласен с ней во всем, так умна и интересна она ему показалась. Расстались дружно. Он долго целовал ея теплую руку в тонкой лайковой перчатке, а она ласково внимательно смотрела на его галстук, — синий, с бело-дымчатыми кольцами и галопирующей лошадью посредине.

На второе свидание она не пришла. Напрасно он писал, взывая к ней. Наверно виноват галстук, решил Степан Васильевич.

И опять поиски оригинальных объявлений. Наконец, примирился на ординаре.

«Брюнетка. Между 40-50-ю годами, хорошо сохранившаяся и т. д. Цель — брак».

Надо спешить. Весна и лето упущены. Назначить свидание? но где? В синема. Стало неприличным, — много не наговоришь, значит объясняться надо шопотом и жестами, — нехорошо! Назначил в Аусбури-Парк. Море, поэзия, прибой волн, необходимость на скамейке сесть поближе, поуютней...

День выдался солнечный. Он ждал на вокзале. Из вагона вышла она с условленным цветком. Очень нарядная, красивая шляпка, лакированные туфли на очень высоком каблу-

ке. Ростом маловата и полновата, — подумал Степан Васильевич. Радостныя восклицания и поиски скамейки. Каблуки давали себя знать, утопая в песке, и она очень быстро устала, отыскивая скамейку, где бы уже не сидели другие. Скамейки не было и поневоле приходилось бродить без конца. У нее угасло выражение наивного восхищения природой, волнами, видами, перспективой. Наконец, скамейка найдена. Довольно грузно бухнулись они и она немедленно сбросила туфли, стараясь придерживать их ногами, что ей с трудом удавалось. Фигура была напряженная, словно, вот, вот соскользнет со скамейки. С моря дул изрядный бриз, ходили барашки и Степан Васильевич ощущал, как ветер забирался под жилет, струйки зефира расползались по бокам, груди, спине, дуло в затылок, хотелось поднять хоть воротник пиджака.

Дама вздохнула. — Вот счастливые, голые лежат на песке, и хоть бы что. —

— Так это внизу, на пляже и в теплом прогретом солнцем песке, — довольно грубо ответил он. Дама вздохнула еще глубже, тоже ощущая порывы ветра, по всем направлениям проникающего через соблазнительное декольтэ. Широкая юбка разлетелась от ветра и дама подбирала ее под себя, чтобы согреться. Ее посиневший нос и потускневшие глаза вызвали сожаление Степана Васильевича и он рыцарски снял пиджак и предложил ей. Она с восторгом согласилась и влезла в прогретый пиджак.

— Вот эгоистка. Нет сострадания к человеку, все себе. Хорошая же из нее выйдет жена. —

— Наверно нищий, нет денег, чтобы пригласить даму в ресторан, думала она. Там тепло, уютно... И я тоже хороша, хоть-бы вязаное трико одела, а то кружевца, декольтэ, вот и мерзну. Еще воспаление легких схвачу. —

Подумывал о ресторане и Степан Васильевич, но после того, как дама согласилась взять его пиджак, он почувствовал к ней вражду и ему захотелось домой, скорее домой, в тепло, привычный уют, горячего чаю с коньяком. Ее намеки на ресторан он принимал уже враждебно, а мысль неустанно возвращалась, — как бы попасть скорее домой, в тепло...

Кто-то, сняв широкую шляпу, подставив ветру копну кудрей, проходил, напевая мягким баритоном, —

Ночи безумныя, ночи бессонныя,
Речи бессвязныя, взоры усталые,
Ночи, последним огнем озаренныя,
Осени мертвой цветы запоздалые.

донеслась последная фраза.

— Он спел неправильно, надо «осени поздней», — робко начала дама.

— Совершенно правильно, именно «мертвой», — резко ответил он.

Степан Васильевичу хотелось плакать. Да, вот именно, мы «осени мертвой цветы запоздалые». Боже мой, да разве раньше, я мог возненавидеть женщину, пришедшую на свидание ко мне, за взятый у меня пиджак. Мог ли думать о ветре, о теплых штанах, вязаной жилетке, когда все горело, билась горячая кровь и хотелось без конца быть с близким человеком. Дождь, снег, вьюга, ветер, не все ли равно, она тут, ты с ней. Он глубоко вздохнул.

У нее посинел нос, объехали губы, вуалька отсырела, обвисла, глаза от ветра покраснели и слезились. Тоскливо взглянул на нее, подумал, — туда же, романсы! И не глядя сказал,

— Пожалуй, пора и домой, — растягивая рот в приятную улыбку.

Она жалко улыбнулась и поспешно отдала ему пиджак. Он радостно ощутил теплое прикосновение и уже любезно спросил:

— Вы едете поездом, может быть вместе?

— Благодарю вас, я зайду к знакомым, — быстро протянула руку, он поцеловал, и она засеменила короткими шажками к ресторану...

Иногда, по инерции, он заглядывал в объявления, но прочитав, ему вспоминалось «Осени мертвой цветы запоздалые».

# СЕКРЕТАРША

Я в третий раз подошла к дверям моей соседки и тихонько постучала. Перед этим я долго ходила в нерешительности. Минут сорок тому назад, я стучала к ней менее робко и спрашивала ее который час. Все в нашем корридоре знают, что у меня радио, телефон, по которому я всегда могу знать самое точное время, самые точные часы из всех живущих здесь, т.к. ежедневно, в течение тридцати шести лет я ходила на службу, ни разу не опоздав, несмотря ни на какую погоду...

И вот тоска, мучительная, как зубная боль, гложет меня. Одиночество гонит из комнаты, хоть пройти мимо живого существа, услышать стук пишущей машинки, голоса, чуть долетающие в корридор из комнат. Только не мертвый голос моего радио. А ведь каким нужным казался он мне здоровой, инте-

ресным, приносящим тысячи новостей и дешевых шаблонных песенок. Как далеко все это, сейчас, от меня...

Я больна. За мной должна приехать карета скорой помощи увезти в госпиталь. Я знаю, что оттуда мне уже не вернуться, ни в эту комнату, которую я с такой заботой отделывала по своему вкусу и за разкраску которой, новый жилец будет упрекать меня, ни в какую другую...

Сегодня я не накрасила щек, как делала это каждое утро, чтобы казаться моложе, здоровой, безпечной, постукивая каблуками по корридору шла я, — смотрите, как я еще бодро иду, как я еще сильна и молода...

Щеки ввалились и зубы щелкают, словно хотят выскочить, показав всем, — ведь это полутруп. Крашеные волосы, рыжей мочалой повисли и нет сил прикрутить их на шпильки.

За мной могут приехать каждую минуту и я благословляю шторм, который, может быть, отдалит отъезд мой в госпиталь. Окно залеплено снегом, наш шестнадцатый этаж весь во власти бури. Ветер на балконе треплет деревья в кадках, огромный железный крюк держит дверь на балкон, стеная и визжа.

Вчера пришли мои дочери с мужьями и по их через чур восторженным уверениям, что болезнь моя пустяки, две три недели я пробуду в госпитале и вернусь обратно в эту комнату, которую я так люблю, к которой привыкла, я почувствовала конец...

Наследства я не оставляю. Я проработала всю жизнь...

Я хожу по корридору, сжимая слабеющими руками голову. Тоска. Стучусь к соседке, — «который час?». Очень любезная и ласковая обычно, она немного удивленно ответила, — «двадцать минут одиннадцатого». Последний раз ответ был, — «сорок восемь минут десятого». А мне казалось прошли часы.

Когда вчера ушла шумная, притворно-веселая компания родных и знакомых, у меня вырвался вздох облегчения. Не нужно улыбаться, притворяться и я осталась сама с собой со своим прошлым...

... Мне двадцать один год. Секретаршей богатого человека я приехала в Шанхай. Астор-Хауз, лучший отель в Шанхае, был переполнен. Все национальности смешались. Деньги лились так же легко, как и приходили в руки, дела у всех шли блестяще. Танцы, музыка, кавалькады и шопинг, шопинг, шопинг, — вечный праздник.

Рикши, безжалостно подгоняемые седоками, умирали на глазах от разрыва сердца. Они старались набрать больше седоков, плятящих им гроши. Струйка крови из горла и скрюченное, жалкое, коричневое тело успокаивается около экипажика.

За шампанским, балами, вихрем веселья, эти корчи несчастных были незаметны. Но я всегда думала, что за это придется платить.

Япония, цветущая, чудесная по весне, развернулась и запомнилась великолепным цветением вишень и сбором в Киото всех Гейш. Изумительные празднества. От мала до велика, все население в парках Киото любуется на экзотические костюмы и прически Гейш. Да и как не залюбоваться? Ведь это самые красивые девушки Японии.

На крутой помост, узкий и высокий горбом, как венецианские мостки, идут Гейша за Гейшей, целой вереницей. Какие костюмы, какая фантазия в прическах, какие веера и банты с бабочками на талии!

Тихие пятичасовые чаи на огромной веранде Гранд-Отеля, в Иокогаме. Вид на залив и французское Посольство, Блеф чаровал меня. Блеф это чудо — выброшенная из моря скала, клочек земли, цветущий, ликующий, гористый, прихотливый, весь завитой кустами роз. Изумительные дачи-игрушки, выдуманные богатыми людьми. Очаровательная маленькая церковь заинтересовала меня. Я вошла, — чудесная мечта, голубой шелк и бамбук. Легкая, капризная, как бонбоньерка, великолепная живопись. Все необычайно в этой церкви, для моего взгляда, привыкшего к голым стенам баптистских храмов. Все внутри церкви сияло чистотой, любовью, миром и тишиной.

Я спросила у молодой девушки, стоявшей в этой Церкви у стола со свечами, какая это церковь? — Она ответила на хорошем английском языке, — это русская Церковь и Церковь эту построил русский купец, Анатолий Бабинцев. Я попросила ее записать. Она написала по русски и по английски и ушла, потушив свечи у Святых. Я приходила к этой девушке каждый день и помогала ей убирать церковь, сметать пыль. Но в сущности пыли не было и вообще на Блефе, выброшенном из воды, пыли не было. А девушке этой, должно быть приятно было, оставаться в этой прохладной тишине. Я чувствовала любовь к этой маленькой церкви и девушке. Я плакала, когда узнала, что Блеф провалился во время землетрясения, погибли почти все жители, густо населенного Блефа. Это был сплошной букет цветов, но земля разступилась и все ушло в бездну. Что стало с этой чудной девушкой? Погибла ли, как и веселившаяся в те времена, когда была я там, Иокогама?

Во время пятичасовых чаев, безшумные, как куколки, прелестные мусмэ, подавали изумительной красоты чашечки чая...

Аллея криптомерий, единственная по красоте, по дороге в Никко и храмы, лепящиеся по крутым, почти непроходимым, склонам гор. Мелькают чистенькие селения, мелькают долины, цветущих роз, вишневых деревьев, склоны гор покрыты оза-

лиями, кустами камелий всех цветов. Но вот дальше, дальше горы, заросшие криптомериями, а вершины покрыты снегом. Снег лежит в морщинах и впадинах, а у подножия гор смеются цветы и затерянный, среди отрогов гор, Никко.

Очаровательный, в своей простоте, отель «Никко». Балконы, сад и горы. Горы покрыты цветами. Отель полон людьми. Там познакомились мы с семьей японского майора. Мой хозяин только брезгливо смотрел на всех, не завязывая никаких знакомств. Несмотря на его брезгливую гримасу и вонючую сигару, нас любезно и радостно приветствовали, как знакомых, сидевшие за табль-д'отом.

Я жила в полусне. По утрам меня будили колокольчики храма. Чтобы осмотреть храмы, нужно было забраться на самые вершины гор. Нас несли туда на носилках по две рикши. Часто мне хотелось взбежать самой по этим чуть заметным тропинкам, но мой хозяин запретил, — это неприлично.

И лишь тут я заметила, что у него слишком большой живот и двум рикшам тяжело нести его, по этим крутым горам, по почти непроходимым тропинкам.

Вернувшись однажды с экскурсии, я увидела за обедом очень красивого юношу. Я не могла определить его возраста. Тонкий как хлыст, гибкий, породистый нос, синие глаза, высокий лоб, окаймленный русыми, как каштан, волосами. Мы обменивались официальными приветствиями за завтраком, обедом. Иногда, мы не встречались по несколько дней, и тогда мне было очень грустно, если я не слышала певучего, по венски, — «мо-о-орнинг».

Хозяин увез меня, несмотря на протесты. С этого момента я разглядела моего хозяина, как следует. До тех пор я никогда не видела и не критиковала его, хотя было за что, — не выпуская изо рта вонючей сигары, он ни о чем не умел говорить, кроме дела и денег. Короткие ноги и обрубком туловище, короткие руки с плоскими ногтями. Багровая шея и срезанный затылок, покрытый рыжеватыми короткими волосиками над крахмальным воротничком. Всегда в дорогих костюмах, осыпанных пеплом и перхотью. Таким я увидела его после Никко, а раньше до этих пор он был мутное пятно, которое давало мне блеск и роскошь, ничем не мешая мне жить. Да у меня и не было никаких своих желаний...

Встреча в Никко с Валера, так отрекомендовался он моему хозяину, словно открыла мне глаза и на хозяина и на себя. Кто я? Маленькая, худенькая, с большими карими глазами, светлыми волосами, волной от природы, крохотные ноги, руки, не знавшие труда и не умеющие ничего делать. Очень плохая, невнимательная секретарша, стараго порочнаго человека.

Довольно! Я не хочу больше такой жизни. Нужно отыс-

кать, увидеть Валера, говорить с ним. Он не беден, это видно по его одежде, по его жизни. Я не хочу грязных миллионов моего хозяина. Я хочу чистой здоровой жизни с любимым человеком. Но как сделать это? Как увидеться с ним? Просто уйти от хозяина и поступить на службу, значит никогда не встретиться с Валера. Не ходит же он по универсальным магазинам или дешевым кафэ, где мне придется служить. Нет! Если я не уйду от хозяина, то мы, как и до сих пор, будем продолжать бродячую жизнь и мы сможем с ним встретиться скорее. И превозмогая отвращение, я оставалась с хозяином...

Мы колесили по всему свету и опять Шанхай. Палас-Отель. Здесь гораздо веселее, публика моложе, интереснее, чем в Астор-Хауз. И не так чинно. Во время обеда перекличка от стола к столу. Друзья перебрасываются конфетти, серпантин, шутки, смех и время летит незаметно. Я веселилась, отгоняя мысль, что после обеда, опять придется остаться наедине с хозяином, и у меня скатилась слеза. Я спешно смахнула ее платком и хлоп, кремовая головка пирожного, на моей тарелке, слетела на бок. Слежу за лентой серпантина, — откуда? и вижу, он, Валера. Думала сердце выскочит и по ленте серпантина побежит к нему.

На лице его радость. Мы словно нежно обнялись на разстоянии, так дрожало, млело мое сердце.

Он должно быть с матерью, не молодая женщина, в темно-зеленом, почти закрытом платье, дурно причесанная. В это время меня пригласили танцевать и мы ушли в зало. Когда я вернулась к столу, их столик был пуст.

Неподалеку от нашего стола, вокруг большого стола, разместилось еврейское семейство. Какое то огромное количество мальчиков и одна девочка-подросток, лет четырнадцати. Мальчиков держали на коротких вожжах, поминутно одергивая, а к девочке отношение было осторожное. Как будто боялись ее обидеть, огорчить, словом как относятся к больным нервным людям. Очень худенькая, высокая, еще не начавшая формироваться, она одевалась, как взрослая в широчайшие длинные шелковые платья. Огромные, как сливы, глаза, под мрачно сомкнутыми бровями, очень большой красивой формы рот, с ярко накрашенными губами, украсили бы любую синематографическую звезду. Нос портил впечатление, — он курносо широким башмаком лез к верху. Не по летам высокая, как змейка скользила она по столовой, направляясь, между столами, к родителям, которые неизменно приходили раньше ее и ждали, не начиная обеда. Девочка открыто, без церемонии выражала свой восторг перед Валера, усаживаясь так, что б видеть его все время, отодвигала цветы на столе, если мешали, пересаживала братьев. С азартом метала серпантин и кон-

фети в Валера. Если Валера вставал и уходил, она немедленно вскакивала и мчалась по тому же направлению, возвращаясь еще более капризная, раздраженная с пылающими щеками.

Мне было очень жаль эту девочку, хотя я ничего не понимала, что именно происходит.

Валера с матерью пили шампанское и за завтраком и за обедом. Вообще она много пила, Валера меньше, но она постоянно поднимала бокал, чокаясь с ним и что то произносила и он тоже пил. Во мне разгоралось чувство уже не прихоти, не каприза, я болезненно переживала, когда Гутя, так звали девочку, убегала за ним куда то, и что бы там не происходило между ними, я мучительно завидовала ей. Однажды я удивилась, — Валера поднял бокал по направлению Гути, подняла и мать. Они как бы чокнулись на разстоянии, словно с чем то поздравляли.

После обеда, иногда и во время обеда, мужчины приглашали дам и уходили в зал танцевать. Валера всегда приглашал Гутю, потом меня и тут я чувствовала, что мы оба сгораем от счастья быть вместе, хоть минуту. Говорили мало. Он повторял одно, — мне нужно с вами долго и много говорить.

— Но где, когда? — печально спрашивала его я.

— Это так грустно и так серьезно, то, что я хочу сказать вам...

Гутя выглядела совсем плохо и, когда испуганные родители, по совету врача, решили увести ее из прокисшего зимней непогодой, ветрами пронизаннаго, Шанхая, порывалась выброситься из окна. У меня болело сердце и смотреть было тяжело на бедную девочку и так мучительно переживавшую свою первую любовь.

Однажды мать Валера шла по одному направлению со мной, к лифту, — не знаю, как я решилась, но вдруг резко сказала ей, —

— Зачем месье Валера так мучает девочку, ведь она еще ребенок, и я хотела объяснить ей что то и тут я рассмотрела мать как следует, вблизи при ярком электричестве, а не издали, в матовом свете столовой. Крепко сбитая, небольшого роста, сильно загримированное лицо, проломленный, осевший нос и от этого не вмеру выпуклые глаза, как у жабы, в этот момент впившиеся зло в мои, и хриплый, гнусавый голос выкрикнул.

— Валера свободен делать все что хочет.

Лифт остановился, я вышла, она поднималась выше...

После этого случая я попросила хозяина поехать в Пекин к знакомому профессору. Эта семья настойчиво приглашала нас к себе и я воспользовалась этим предлогом, чувствуя себя неловко после разговора с этой особой.

Когда мы вернулись в Шанхай все были на местах, и семья Гути и Валера с матерью. Я не поднимала глаз, чтобы не встретиться с ними глазами. Теперь я знала, что это не мать, мы оба были в одинаковом положении, Валера и я. Мы оба могли быть прекрасно одеты, пить шампанское, иметь своих лошадей, участвовать в кавалькадах, пока я была секретаршей у моего хозяина, а он у безносой женщины...

Стоит ли вспоминать дальше? Но может быть уже завтра, затемнят мое сознание наркотиками, для операции и может быть оно уже и не вернется больше, а сейчас, лучше думать о чем угодно, лишь не о том, что мое тело будут кромсать, заливая кровью холодный стол...

И вдруг неожиданно кавалькада помогла нам, дав возможность поговорить, побыть вместе, словом осуществилось то, о чем мы мечтали и казалось совершенно безнадежным. Но, теперь для меня было все ясно, кто он, а он видимо представлял мое положение совершенно иным. Моему хозяину нездоровилось. Лезть на лошадь ему было трудно, — разыгралась подагра. «Матери» Валера резали ногти и мозоли на ногах, и плохо срезали и с забинтованной ногой она покоилась на балконе.

Мистер Певзнер, руководящий кавалькадой, Гутю не взял. И вот, так долго жданная возможность быть вдвоем, говорить, настала. Какая злая ирония!

Лесная мягкая дорога, лошади идут шагом, тихо шелестят листья, тихо падают слова признания.

— Судите и решайте, — говорит он. — Женщина, которая со мною, служила на датском телеграфе, была приятельницей моей матери и, увидев красивого мальчика студента, под видом подруги матери, приблизила его к себе, позволяя то, что посторонняя женщина не могла бы позволить. Она всегда много пила, спаивала и меня, дружески заставляя брать у нее деньги «в долг». Приучила к широкой жизни, от которой я освободиться уже не мог. Эта страшная зависимость давит меня, но я так мало зарабатываю, работая в газете, что не смог бы оплатить даже комнаты в отеле... Он много говорил, плакал, оправдываясь. Привязали лошадей к дереву, сели на бугорок, с пожухшей от солнца травой. Моя амазонка широко раскинулась кругом. Он рыдал, прижав к лицу комком кусок моего платья, целовал руки, просил прощение, проклинал себя, проклинал «безносую дрянь», опутавшую его, — а я, — молчала.

Что могла сказать я? Повторить его историю? Он просил дать ему время исправиться, начать работать для меня, встать на честный путь. Я ничего не ответила, но мне хотелось, что-

бы он изменил жизнь, стал другим и сказала ему, — попробуем, увидим.

На честное признание нужно было ответить таким же, но если меня мутило от его признаний, разве не вызвало бы мое таких же чувств в нем. Он просил, —

— уедем сейчас же из Шанхая, не возвращаясь в отель. Уедем в Инкоу, Гон-Конг, Ханькоу...

Я засмеялась, — ребячество, разве возможно в этих костюмах. Ведь это не карнавал. Терпели долго, потерпим еще. Все сделаем спокойно.

Он затих, поверил, а у меня камень на душе, придавил и не отпускает. Храбрюсь, шучу. Вернулись поздно. Мой хозяин еле держится на приличной ноте. «Мать» Валера пьяна, как дым. Во время обеда подпевала оркестру и делала плавающие движения руками. Семьи Гути за столом не видно. И вообще в столовой странно гнетущее настроение.

Мой хозяин объявил мне, — завтра уезжаем. Горничная рассказала, брат Гути захворал черной оспой, которая давно уже развилась в эпидемию в китайском городе. Скрывали, чтобы не вызвать паники. Но вот в один день на английской и французской концессии заболело 37 человек. Наверное занесли рикши, кули, китайская прислуга.

На другой день мы не уехали. Бревном, с опухшей от подагры ногой, лежал мой хозяин. За обедом было совсем мало народу. Оркестр играл романс «Май лов» и это вызвало у меня слезы и я выбежав из за стола навзрыд зарыдала, прижавшись к крышке рояля в темной угловой комнате.

Ни мать ни Валера к обеду не появились. А утром на следующий день я узнала от прислуги, что Валера захворал черной оспой, увезли в барак и с ним уехала безносая женщина, ходить за ним. Она не испугалась заразы, а я? Я дрожала от ужаса, ведь два дня тому назад, он прижимал пышный хвост моей амазонки к лицу. На платье моем его слезы. А если он уже носил зачаток заразы? Леденящий душу ужас охватил меня при этой мысли. Я быстро позвонила и приказала прислуге забрать амазонку и делать с ней, что угодно. Мысли крутились, цеплялись одна за одну.

Так где же любовь? Разве я пошла бы ходить за ним в барак, где все в оспе? Горничная сказала, что в бараке этом творится что то ужасное.

Как хорошо, что нас во время развела судьба. Там где нет жертвы, готовности всего себя, безразсчетно, отдать за благо, за счастье, за радость другого, — там нет любви. А если человек начинает разбирать и взвешивать, чем он может пожертвовать и что уступить ему жалко и невозможно, — то это любовь плотская, т.е. ничего не стоящая,

зависящая от мгновений, настроений, прихоти, страсти, угасающая быстро...

Все пережитое заставило меня пересмотреть всю мою жизнь. Я без сожаления высказала хозяину все мои мысли и мы разстались дружески. Я даже предложила ему найти подходящую секретаршу, извиняясь, что я была плохой секретаршей. Он грустно, улыбаясь сказал:

— Секретаршу я найду может быть и лучшую, но такого редкого человека, как вы не найду. А после вашей правды, секретарш у меня вообще больше не будет, а будет секретарь. Бичуя себя, фактически вы хорошо высекли меня, — нас, вообще, берущих непременно молодых и красивых девушек. Если я понадоблюсь вам, вы мне скажете, и я вам охотно помогу.

Тридцать шесть лет проработала я на телефонной станции у Херста. Умирая, подруга просила меня взять ее двух девочек. Я взяла и воспитала их. И вот они с мужьями вчера пришли напутствовать меня в госпиталь и дальше. Замуж идти мне не хотелось. Я прожила одиноко и м.б. лучше, ни лжи, ни притворства, ни обмана в моей жизни не было. Мне хорошо платили и сейчас газета оплачивает все. И карету, которая повезет меня в госпиталь, и ту, которая повезет меня на кладбище...

Я слышу лифт. Это за мной...

# ЕЯ ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ

В этом уголке сада сладко пахло липами и тут же, сбоку, примастились и буйно разрослись кусты желтой акации.

В удобном кресле сидела старушка, две серебрянные спицы быстро мелькали в воздухе, вывязывая затейливый шарф. Лиловел закат, вечерело. На разлапанной скамье сидела Прасковьюшка. Приехала она с господами после разгрома в России. Были они еще молодые тогда, выростила она господских детей, внучат, и стало трудно ей работать в разросшемся хозяйстве и она ушла нянькой в семью к друзьям, где родился маленький ребенок. Как ни упрашивала остаться у них Валерия Михайловна, Прасковьюшка настояла на своем.

— Только обуза ведь я вам. Ну какая я сейчас работница.

Каждое воскресенье и праздники после обедни приходила она навестить свою барыню и целый день проводила у них, как у родных.

Вот и сейчас в саду под липами пили они чай с вишневым вареньем и сладким пирогом.

— А хороша у вас внучка, Валерия Михайловна. А уж как подвенечный наряд к ней идет. Прямо северное сияние!

Довольная улыбка мелькнула и быстро исчезла, но в серых ясных глазах Валерии Михайловны осталась эта улыбка.

— Хороша, верно хороша внучка, в кого удалась такая, не знаю. Может быть в тетку, Ниночку Юкавскую. Помнишь, Прасковьюшка, ее?

— Помню, помню! Да внучка то в вас же удалась, Валерия Михайловна, да и глаза ваши, серо-зеленые.

— Ну, глаза то может быть и мои, наши фамильные, но нрав, характер, совсем чужой и непонятный. Может быть от страны, от обычаев чужих, характер такой. Не пойму. Вот, например, сказать, — идет замуж, а любит ли его или нет, не понять. Помнишь, Прасковьюшка, как у нас бывало, — молодой человек около тебя ходит, ходит, а ты и виду не подаешь, что замечаешь. А теперь молодежь, совсем по другому, — познакомились, хлоп и жених. Ни он про нее, ни она про него ничего не знают. Конечно жизнь их суровее нашей, жалко мне молодежь. Тяжело им дается жизнь. Вот сейчас вижу и понимаю, не любит она жениха, а идет. Прямо какое то соревнование, кто раньше замуж выскочит. И слова какие то непонятные, — она его «завоевала», что это враг какой, неприятель? Ну хоть бы увлекла, заинтересовала, а то «завоевала». Не слыхано!!! Возмущенно повторяла старушка.

Прасковьюшка успокаивала барыню.

— Что город, то норов, что деревня, то обычай, говорит пословица. Уж там «завлекла ли», «завоевала ли», а ребят все равно носить будет и рожать будет, как и в старину. С гнезд то и у них не вываливаются, матушка барыня, — забыв строгое воспрещение Валерии Михайловны, называть ее барыней, уговаривала, как умела, Прасковьюшка.

Обе они прожили весь свой век вместе. Параня была дана Валерии Михайловне, когда та выходила замуж и уезжала с мужем из родного дома. Девочкой Параня была взята к Валерии для игр. Была подружкой-наперстницей, вместе учились, вместе играли, вместе шалили и вместе отбывали наказание и Параня была Валерии ближе родных сестер. Вместе покинули они и разоренное гнездо. Параня нрава была боевого, деловита, смышлена и в чужих краях скорее господ приспособилась к неласковой жизни. И сейчас сердце ее болело за Ниночку и сама она тревожилась не меньше Валерии Михайловны, да скрыть умела...

— И не тоскуйте. Слава Богу, Ниночка уже не ребенок, ей 17 лет, в августе 18 стукнет. Да и скороспелые они, нынешние дети, не как вы, росли, что тепличный цветок. Вот вы то умницей слыли, — еще помните, соседи то у нас были. Бывало вся семья летом в имение соберется и был старший сынок, студент, Гектор по имени. Так вот, он вам в альбом написал стишки

Я разум чистый твой ценю, 19
Ты всех к себе им привлекаешь.
Кто ж скажет, — я тебя люблю,
Того нещадно ты караешь.

— Вот уж посмеялись то мы! Ведь вам едва ль 14 годочков было тогда. И у всех по рукам этот ваш альбом ходил.

— Как это ты все помнишь, Параня? А я вот забыла. Что же, правду он это написалл? Верно такая умная была я? — с интересом спрашивала Валерия Михайловна.

— Верно! Чистую правду он написал. Много, бывало, около вас народу кружилось и взрослые интересовались вашим разговором. Ну только строгая вы были. А ум у вас, извините, был глупый.

— За что это вы разносите бабушку, Прасковья Васильевна, — и неожиданно из за кустов появилась девочка. Пухленькая, розовая, как сдобная булочка. — Бабушка, да ты сконфужена, значит за дело тебе попало? Что ж ты не пришла посмотреть мое подвенечное платье? Я хотела сюда в нем прибежать, показать, так меня чуть не разорвали на части, вдруг этакое чудо попорчу. А вот Прасковья Васильевна видела.

— Да уж верно чудо... ну уж и платье, хвост четыре аршина!

— И слышать не хочу о твоей свадьбе, закрыв уши руками, сказала бабушка. — 17 лет, ну куда ты спешишь?!

— Ах, бабушка, Наташа Сомова вышла замуж. Агата Керн, — вышла. Соня выходит, обручена. Да ведь вы сами вышли замуж еще 16-ти не было, — воскликнула девочка

— Ну, бабушку за это винить нельзя, вступилась Прасковья Васильевна, — так скрутили бабушку, что и опомниться не успела...

— Почему, — удивилась девочка. — Бабушка расскажи, что случилось, почему тебя так скоро скрутили?

— Ну что там рассказывать, пустяки. — У бабушки быстрее замелькали спицы и она словно смутилась.

— Да ну расскажи, бабушка, милая, родная, расскажи.

Прасковья Васильевна разсмеялась.

— Нет, уж видно мне придется тебе рассказать. Ну ладно, слушай. У бабушки твоей голос был несказанной красоты, запоет, что твой соловей зальется. Было лето, окна открыты. Как стемнеет, она на всю улицу разливается, поет. В комнате темно и не видно с улицы, кто поет. Народ мимо ходит и слушает. Пришла, однажды, барыня нарядная. Я, говорит, ваша соседка. Снимаю квартиру у доктора. Каждый вечер хожу мимо вашего дома и слушаю, кто это у вас поет? Ну, как увидала бабушку, глазам не поверила. Как, вот эта девочка поет? Я, говорит

оперная певица, приходите ко мне, я буду вас учить даром. У вас голос Богом поставленный. Вы будете большие деньги получать в Венской Опере. Ну и давай сбивать ребенка. Бабушке тогда еще 16-ти лет не было. Конечно, мамаше неприятно было, что дочку сбивают. Мамаша и говорит певице:

— Дочка у меня одна. Очень прошу вас не говорите с Валей так, она еще ребенок, увлечется приманками, а я не хочу, чтобы она шла на сцену. Жизнь бродячая, трудная. Для артистки характер ее не подходит, не гибкий, она пропадет, погибнет.

Ну все же певица эта не отстала, ходит к нам каждый день и ходит. Принесла разные новые ноты, стала показывать, как их надо петь. Ну прямо спасения от нее не было. Жужжит одно, учиться, учиться! Увезу в Вену, будет в консерватории, я из нее сделаю знаменитость. Ну, бабушка и оробела. Певица была высокая, могучая, характер властный. Перепугалась и мамаша, увезет, сделает актрисой. Вот горюшко то было, покрутила головой Прасковья Васильевна...

Внучка широко раскрытыми глазами смотрела на Прасковью Васильевну и слушала жадно, не проронив ни слова.

— А бабушка твоя будто ничего не понимала, будто не о ней дело шло. А потом так забоялась, что, как певица то придет, она в сад убегала. Сад был у нас пребольшущий, занимал весь квартал, фруктовый и ягодный. До того хороши были деревья, что у флигеля крышу сбоку на две сажени прорубили, чтобы только грушу дюшесу не потревожить и ветки не рубить. Так поверх крыши и росла и плоды давала отменные.

И был пруд. А над ним ива, агромаднейшая. Ствол толстый, нижние ветки подрублены на сажень, может и больше, а на верхних ветках бабушка себе дом устроила, целое хозяйство завела, — миндаль, печенье, мед, изюм, фрукты, все у нее на досках там хранилось, в ящике. И была веревочная лестница. Как по этой лестнице заберется к себе в дом, так и лестницу подберет, что б никто к ней не попал. На пруду был плот из пяти досок и корыто с лопатой, что в печь хлеб сажают, и были они привязаны к дереву толстой веревкой, и плот и корыто. Сама каталась и других катала по пруду. Корыто яхтой называлось, было зеленой краской покрашено и желтая полоса по борту. Затейница была.

А эта певица и говорит, — затеи с прудом, на воде, надо бросить, голос можно попортить. Так много по вечерам петь нельзя, надо петь не это, а другое.

Ну, бабушке, она до смерти надоела. А тут свадьба Анюты Михальской подвернулась. Бабушку подневестницей пригласили. Сделали ей платьице длинное, нарядное. После свадьбы,

шафера, молодые кавалеры, провожали барышень домой. И этакий ферт выискался, провожал бабушку и сказал ей, что делает ей предложение руки и сердца.

Прасковьюшка с большим чувством и гордостью, произнесла это, — знай, мол, наших, нам «побеждать» женихов не нужно было. Бабушка ответила ему, что ей надо еще учиться. А он сказал ей, что будет любить ее и без аттестата об окончании гимназии и ждать не хочет. Насилу бабушка уговорила его, маме ничего не говорить, а то мама подумает, что она кокетка. И всю то ноченьку мы с ней проревели до утра. И конечно, она маменьке не сказала ничего. Тогда он сам сделал предложение руки и сердца, а маменька только посмеялась и в серьез не приняла. А он настойчивый, упорный. И попала твоя бабушка между двух огней, — певица и жених. Он со всеми вежливый, деликатный, а с певицей, как собака. Однажды приехал о. Иоан Кронштадский в монастырь, верстах в семи от города монастырь то был, распрочудесный монастырь, Кассино прозывался. Монашки выростили фруктовый сад, а под яблонями, в праздники накрывали столы, белоснежными скатертями и подавался самовар к каждому столу, по желанию. Ну там закуску монастырскую, грибы тушенные, винигрет с подсолнечным маслом, овсянные оладьи, мед свой, липовый, сотовый...

— Гости даже из Петербурга приезжали на праздники. А жители то городские, частенько запросто ездили попить чайку под яблоньками. А тут такое торжество! — сам батюшка о. Иоанн Кронштадский на пароходе приехал. — Пароход то назывался его именем «Иоанн Кронштадский» и ходил от станции Волхова, по озеру Ильмень и реке Волхов. А к пароходу, в городе, подали экипаж с парой лошадей, купца Ваннюкова, чтоб доставить батюшку до монастыря. Ну как узнали в городе, что батюшка приехал в монастырь, все бросились — кто на лошадях, кто пешком в монастырь, прослушать обедню, подойти под благословение к батюшке. Уж и любили его и почитали! Ну, конечно, и барыня с барышней и женихом собрались. Вышли из дому, чтобы сесть в экипаж. В экипаж уже была поставлена большая корзина с провиантом. Только это они подошли к экипажу садиться, а певица, шасть, тут как тут, и полезла в экипаж без приглашения. Она широкая, большая и заняла половину сидения, а барыне с барышней и места нету. Кое как втиснулись, а жениху пришлось сидеть на передней скамеечке. Он корзину то и громыхнул ей на колени. Вышли из экипажа. Он корзины не взял и пришлось певице то тащить корзину с провиантом.

А она так ехидно говорит жениху, — разрешите мне понести также и вашу тросточку. А он хоть бы что, — благода-

рю вас я и сам донесу, — и так любезно и вежливо поклонился, но корзину не взял.

А жених то был красивый молодой, да статный, певица то и сама на него заглядывалась. На рояле играл и под гитару пел. Как запоет, певица с него глаз не сводит.

И Прасковьюшка слово за слово рассказала весь романс.

Задремал тихий сад,
Ночь повеяла томной прохладой,
От цветов аромат,
Воздух дышет живою отрадой.

Из-за тучки луна
Осветила твой лик ненаглядный,
И ты неги полна.
Воздух жадно вдыхаешь прохладный.

Никогда так мила ты еще не была,
Для тебя, мой кумир, я забуду весь мир!
Пусть свидетели мне ночь, и сад, и луна,
Что тобою душа вся полна.

Жених поет, смотрит на невесту, а певица ехидненько так,

— Человек то вы благоразумный, свидетелей то выбрали немых.

Так жених и передернется. Или запоет «очи черные, очи страстные», а певица тут, как тут, —

— Ухаживаете за очам серыми, а воспеваете очи черные.

Так они и бились, как два ястреба.

Ну, выписали тетю Тину на эдакое дело. Та посоветовала, — лучше жених, ну, ее, певицу!

Назначили день свадьбы. Утром говорят, невесте надо сидеть дома целый день. Бабушка разсердилась, — я не пленница, что б никуда не выйти. И вдруг оказалось, что не хватает лент для украшений. Гувернантка, Софья Михайловна, и пошла ленты покупать. А бабушка твоя, не посмотрела, что она невеста, увязалась потихоньку за ней. Ну, конечно, и я. Зашли в кондитерскую, выпили лимонаду, поели пирожных и только подошли совсем уж близко к дому, к трем березкам, что кучкой росли, хлоп, Саша, сын протопопа соборного.

Софья Михайловна поспешила домой с лентами, а мы задержались. Саша держит ручку бабушки и упрекает.

— Куда по такой жаре ходили и без шляпы?

— Некогда. Я сегодня замуж выхожу, приходите к нам...

А он качнулся, за березку ухватился. Бабушка будто что поняла, смутилась.

Он говорит. — Мечта моя была, что женой моей будете, только хотел кончить университет, и что бы вам 16 лет было, по закону.

А я вижу ноги его не держут и за плечо мое ухватился. Говорю бабушке, — уходите, не хорошо, народ увидит.

Бабушка убежала. Народ стал собираться, говорю, — вот студент ногу зашиб...

Пришла домой, суматоха, шафера жениха, подневестницы, посаженый отец, посаженая мать, барыня в обмороке, а дом полон гостей. Подали кареты, стали садиться, а посаженная мать говорит невесте, —

— вот платок, поплачь, оботри слезы, да и брось позади себя из окна кареты. Все слезы оставишь позади, а впереди будут только одни радости.

А бабушка говорит, — я не умею и не могу плакать насильно. Правду Саша сказал, — измучают они вас, ведь вы еще дитя. Вот вы меня и мучаете.

В карете по дороге посаженная мать опять ее учит, — на подножку первая становись, главой в доме будешь. Будет муж тебе покорный. А подножка, розовый атлас, стелится перед женихом и невестой в церкви. Но бабушка твоя на подножку первая не в стала.Вернулись кареты, из церкви. Шумные веселые вышли толпой. Молодых стали обсыпать хмелем, зерном, рисом. Гости прошли в зало, в столовую, а молодые то замешкались в прихожей и, вдруг, из угловой комнаты запел голос.

— Это Саша, протопоповский сын, играл на рояле и пел.

— Что он пел? Почему? — спросила Ниночка, взволнованно.

— Да вот бабушка знает, она тебе скажет, чего он пел.

— Бабушка, скажи, ну что ты все молчишь. Что он пел, почему? — наступала Ниночка.

Бабушка подумала, точно припоминая и тихо сказала.

— Любил он меня, Саша, потому и пел и был это потом его любимый романс, — и она тихонько запела.

Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твоею.
Устал ли я, иль страшно изнемог...
Теперь сказать тебе я не сумею,
Но за тебя молиться я не мог.

И помню я чела убор венчальный,
Измять его мне было жаль.
К тебе так шли цветы. Усталый и печальный,
Я позабыл в то время о мольбе
И все берег чела убор венчальный.

За что цветы тогда мне было жаль,
Бог ведает, за то ль, что рано без расцвета
Им суждено погибнуть, за тебя ль, не знаю я,
В прошедшем нет ответа,
Но мне цветов до боли было жаль.

Пела тихонько бабушка, а на глазах блестели слезы. Прасковьюшка, будто не замечая бабушкиных слез, перехватила словами.

— Ну, вот все слушают, откуда льется это голос, и бабушка остановилась, заслушалась. Ну так хорошо пел, слезой пел, Саша... Тут поздравления пошли, ужин. Полковой оркестр музыки, танцы, и пошло...

Я пошла искать Сашу, обрадовалась, ну, думаю, слава Богу, утешился, пришел. Обыскала все повсюду, нет Саши. И подумалось, что я его ищу? Ведь видала я, как он схватился, в горе своем, за белую берёзоньку...

Ну, конечно, танцевать со шлейфом невозможно, а фату, как есть, до пояса всю в церкви оборвали, кто на память, по дружбе, кто по примете, — кусок фаты, украдкой оторвать у невесты, приносит счастье и от четырех аршин, может, осталось пол аршина на спине. Бабушку твою многие любили за характер ее покладистый, добрая была, независтливая. — Ну, да это еще ужо как нибудь приду и расскажу тебе много чего, коли интересуешься, а пока уж кончу тебе мой сказ.

— Ну вот, после ужина пошли поздравления, танцы. Молодая ничего, веселая, радостная, смеется, а мне то и говорит.

— Что же я такая общипанная, как курица, как же я танцевать буду, это безобразно, пойду платье переодену и фату сниму. — Я, конечно, с ней. Пришли в спальню, сняла она платье. Я достаю другое, а молодой муж, стук легонько в дверь и шасть, не дождавшись ответа. А бабушка стоит, как жемчужинка белая. Он это к ней, да в шейку и в плечико поцеловал. Как взвилась вихрем она, и в детскую комнату, бегом, наверх, и заперлась. Он стучит, гремит, просит, молит открыть.

Я уговариваю. — Уходите лучше, ни за что не откроет. Идите к гостям, заметят, услышат. Не хорошо. — Послушал ушел. Гляжу, оделась она, успокоилась и вышла к гостям, как ни в чем и не бывало. А часа в два ночи, я глядь поглядь, а ее нигде нету. Много вина было выпито. Подумала, может ей от вина худо стало. Все шампанским, шампанским поздравлялись. Я это бабушку ищу, ищу и там и сям, нигде нет. Бегу в большой дом, во флигель. Отзовитесь барышня, — кричу. — Валенька, где же вы? Я в сад, в беседку, нет, нигде нету.

Ну гости уж все разошлись. Бегу к тетушке, Алевтине Михайловне, а там уже барыня и молодой, прямо съума сошли все. А покои для новобрачных были во флигеле приготов-

лены, так что происшествие это никому не было заметно, кроме своих. Даже прислуга ничего не знала. Ну, поговорили, поговорили оне и барыня с тетей Тиной пошли в большой дом, а молодой остался во флигеле. Тете Тине не спалось, очень нервная она была. Пошла она к флигелю. А флигель то в саду был, и вокруг дома веранда. Прошла она по веранде, в окно глянула, а молодой то супруг ружье взял, ко рту дуло приставил, а с ноги щиблет снят. Как она крикнет, — Боже мой, — и упала у окна. Он бросился к ней. А я от страха, как прозрела. Несусь к пруду и шепчу, — барышня, Валенька, ваш муж стреляется. Я догадалась, что она сидит в своем гнезде. Ну никому не сказала. Только села под ивой, лягушки квакают, в воду шлепают с берега, играются, а я так в пол голоса, тихонько уговариваю, а у самой мысли глупые, — неужто утопилась?

— Варенька, отзовитесь. Не то я сейчас в пруду утоплюсь. Ей Богу, брошусь.

— Да тут я, молчи, чучело...

В шесть утра тихонько прошла она в детскую, оделась в нарядный капот и вышла к чайному столу. Супруг поцеловал почтительно ручку. Тетя Тина в пол голоса сказала.

— Вот что значит первой на розовую подстилку вступить.

А бабушка так победительно вскинула головку и сказала громко.

— Розовый шелк тут ни при чем.

— Вот, матушка ты моя, Ниночка, какая была первая брачная ночь твоей бабушки.

Внучка была в восторге от рассказа.

— Бабушка, милая, какая же ты была прелесть! Но все таки, думаю, что я свою первую брачную ночь так не проведу. Ведь ты бабушка рисковала, остаться вдовой, не быв и женой.

А Прасковьюшка, — вот они нынешние, скороспелые то.

# В ПЯТНИЦУ НА СТРАСТНОЙ

Мария Антоновна, уезжая из Москвы на станцию Мураши, накупила массу новейшего типа хозяйственных вещей. Переселялась она из губернского города на эти самые Мураши, на долго.

Приехав с мужем на место его службы, перезнакомилась со всеми железнодорожными дамами. Их было множество. Железная дорога была в нови и много инженеров, а главное, только что окончивших студентов-техников понаехало на станцию Мураши.

Дамы пачками и в розницу наезжали к Марии Антоновне, интересуясь новинками. Особенно их интересовали вещи для кухни, столовой и модные туалеты.

Муж Марии Антоновны, перегруженный делами, позволял себе изредка единственное развлечение, — сходить на охоту.

Целыми днями сидели они с помощником, уткнув носы в бумаги, расчеты, выкладки, чертежи.

Марии Антоновне исполнилось 23 года. Жизнь в ней била ключем. Хорошенькая шатенка, стройная, веселая, она резко отличалась от дам, уже давно осевших на этой станции и тянула к себе кавалеров, и свободных, итех, кто уже пришвартовался к берегу, унылому и изрядно наскучившему. Но умная Мария Антоновна сообразила, —

— на что они мне, эти поклонники, целой сворой, а с дамами со всеми перессорюсь, если буду принимать их ухаживания. И как могла, она отделывалась от наступающей на нее кавалерии.

На ея беду, муж провалившийся выше ушей в дело, ища покоя от постоянных визитеров, снял дом в 7-8 верстах от Мурашей и Марии Антоновне, что б повидаться с друзьями, приходилось ездить на станцию, верхом, или сидеть дома, и слышать доносившееся из кабинета мужа:

— Федор Федорович, а вы проверили?

— Проверено досконально, — гудел в ответ бас Федора Федоровича. — Будьте покойны...

— Федор Федорович, заканчивайте подсчеты. Как подберете чертежи пойдем ужинать.

Кругом стояла темная ночь и лишь теплый уютный дом светился огнями. Построен он был буквою П и бедная Мария Антоновна обманывала себя, сидя в столовой и глядя на свет в окна спальни, в противоположном крыле дома, фантазируя, что живет там кто то другой, хотя она прекрасно знала, что на большое расстояние от дома, не было никакого жилья.

Она любила эти отблески света на снегу, на земле, на траве и во всех комнатах вечерами всегда зажигались лампы и свет разливался вокруг этого одинокого дома.

Федор Федорович, сероглазый, широкоплечий, недалекий, но разбитной, шутник, играл на гитаре и пел. Это разнообразило вечера. Долгие безконечные осенние вечера.

Мария Антоновна иногда, несмотря на пахмурное небо, часов в 5 после чая, кричала калмыченку, лет 12-ти, — запряги мне Рыжаго. Мальчишка оседлай, и взнуздай, и запряги, все называл одним словом «запрягу». И вот одна, она безстрашно гарцевала по лужам, пригоркам, ложбинам. Часто приехав на станцию встряхиваясь от дождя, как пудель, но неизменно веселая, появлялась в зальце вокзала и туда стекались дамы, на-

перерыв приглашая к себе, куда и отправлялись всей компанией, а часов в 8-9, наболтавшись, нахохотавшись, навеселившись, растормошив всех, она уезжала. И не смотря ни на какие доводы, ни на какия просьбы, не позволяла никому себя провожать...

Пока не прекрасная половина убеждала Марию Антоновну, разрешить проводить ее, прекрасная половина рода человеческого, тревожно и неприязненно слушала и ожидала результатов. А вдруг согласится и поедет ее провожать Пан Прочек, или Гранковский, или Яковлев...

Те, кому принадлежали эти кавалеры, были в волнении.

Но вот, пощупав подпругу, не ослабла ли, Мария Антоновна вдевала в стремя щегольски обутую ножку, последний раз взмахнув ресницами, поднимала хлыстик, (никогда не опускала на круп коня) а взмахнув им вместо знака, прощального привета, уносилась со станции.

И все были довольны.

Дом уже издали был виден, горел весь огнями, как только она вырывалась из густого столетнего леса на поляну и неслась к околице. Ездила она в дамском седле. Хорошо.

Наступила зима. Вечера наваливались еще раньше. Еще больше тянуло к людям на станцию. Там хоть небольшой, но ярко освещенный вокзал. Уютный первый класс и все собирались туда, лишь позднее делясь, кто шел помузицировать к одним, кто сразиться в картишки по маленькой — к другим, а то и все скопом на каток, при лунном сиянии. Ну, тут, сидя в кресле, влекомом кавалером, можно было немножко и поколдовать, чаруя ласковым взглядом...

Мария Антоновна хорошо это умела, не даром Федор Федорович пел под гитару чувствительные романсы. Голос у него был хороший, вкрадчивый, гитара вторила чудесно, а вот слова в песнях его, были все какие то несуразныя и конечно, никаких пылких чувств пробудить не могли. Любимый романс его был

Старушка под хмельком призналась,
Качая грустно головой,
Как молодежь то увивалась,
В былые дни за мной...

Было непонятно, старается ли Федор Федорович обратить внимание супруга на поведение Марии Антоновны или предостерегает ее от неизбежной старости и тщетности увлечений, но пел он загадочно, особенно припев к каждому куплету.

Да, пожить умела я
Где ты юность знойная!
Ручка моя белая,
ножка моя стройная.

и сколько не проси его спеть что нибудь другое вместо этой песни, он после «По диким степям Забайкалья», обязательно пел «Старушку». Или рассказывал, какие у него бицепсы и как он может ходить один на медведя. Звал мужа стрелять волков, — ну куда там, по снегу путаться, вот на куропаток весной, дело другое. А уж волки и медведи, это по части Павел Ивановича, вот с ним и валите...

При встречах с Павел Ивановичем разговору у Федора Федоровича только и было, сколько когда кто из них повалил медведей и волков.

Зимой Мария Антоновна, в теплой шубке, ушастой меховой шапке, в глубоких гетровых калошах, выезжала на крохотных саночках-лубяночках, сама правила. Саночки были только для одного человека. Иногда прихватывала с собой калмычка. Маленький, как клубочек свертывался он у ея ног и мчались они по снежной серебрянной равнине, а по бокам лес великан, хвойный, заснеженный. Хот и мал калмычек, а все ж вдвоем веселее.

Вот, как то после чудесно проведенного вечера, уже часов в одиннадцать ночи, Мария Антоновна пустилась в путь. Снегу навалило страсть. Кругом сугробы.

— Я вас не пущу одну сегодня, — сказал серьезно глядя в глаза Марии Антоновне, Пан Прочек. Так он не говорил никогда. Он еле осмеливался поднять глаза от скромности и застенчивости. Он выглядел бирюком. Это был только что кончивший технологический Институт инженер. Глаза, как синее, синее небо юга и темные брови, как жуки мохнатки.

— Что вы, разве можно! Вы знаете я никогда не посягаю на принадлежащее другим.

— Я никому не принадлежу и вы это прекрасно знаете.

Мария Антоновна молча тронула коня вожжой и санки покатились. Пан Прочек взялся за спинку саней рукой, —

— Ведь вы не хотите, что бы я бежал, поспевая за лошадью, пока не упаду, выбившись из сил.

— Нет не хочу.

— Тогда поезжайте рысцой, я пойду за санями.

— Но вы откажетесь от этой сумасбродной идеи очень быстро.

Она правила, лошадь осторожно выбирала дорогу, заваленную снегом, а человек, в ушастой шапке, коротком меховом бушлате и огромных валенках шел по промятому санями снегу. В чаще леса слышались выстрелы, —

— это Павел Иванович охотится, верно изрядно выпил из охотничьей фляжки и жарит по пням. Павел Иванович, закричал он. Ответа не было. Но вскоре два выстрела пронеслись совсем близко.

— Вот этого я и боялся, — сказал Пан Прочек прощаясь у околицы. Он нахлобучил шапку и пошел домой.

Наступила весна. Едва ли где так бурно протекает весна, как в Забайкалье! Природа, как с цепи сорвавшись, мчится, бьет, ломает, крутит, открывает новые протоки, рушит, подтачивает берега, мосты. Где прошел, проехал вчера, сегодня крутит водоворот. Почки на деревьях, птицы, ручьи, — все сошло съума. Звенит, бьется, прет...

Дамы, с Вербной недели наезжали к Марии Антоновне с просьбами, одолжить красивые формы, фасонистые пасочницы, кастрюли для куличей и к пятнице, Страстной недели у нее был разобран весь арсенал посуды. Куличи печь было не в чем.

Федор Федорович измучен работой, т.к. то и дело, где то, что то размывало и они с мужем рыскали на дрезине, а потом ночами вычисляли.

Марии Антоновне было стыдно просить Федора Федоровича съездить на станцию за посудой и формами, и она пустилась верхом сама, собирать посуду для куличей.

У одной милой дамы куличи были в печке. у другой рассиживались, плохо поднимаясь. Словом собрать нужную посуду было трудно. Пришлось ждать. Лошадь Мария Антоновна, бросила без призора. Обычно кавалеры кормили, поили, заботились о лошади. Но сейчас все были на работе, благодаря шуткам весны.

Темнело. Когда она проезжала днем, текли ручьи, щелкало пернатое царство, размывали пески водопады на пригорках, превращая в вязкую глину обочины, тропинки. По дороге и думать нечего ехать, сплошь тесто. И вдруг она вспомнила вовсе не кстати, как недавно проезжала на станцию и видела соломеную крышу бочком на двух колышках, а под ней паренька, спросила, — что ты делаешь? — А вот караулю пастушенка. Бродяги мальченку убили.

— Что ж и ночью так сидишь один?

— Да урядник приказал караулить, ждать пока власти приедут. Ну, да, буду я тут ночевать, как же! Я боюсь тут один.

Мария Антоновна в суматохе забыла об этом. Но сейчас, когда стемнело, вспомнила и неприятно поежилась. Наконец последний кулич испечен, вынут. Дамы понанесли металлических кастрюль с дюжину. Села она на лошадь, темно. Кастрюли, нанизанные на веревке, опустили с двух сторон лошади. Заволновалась, проводить некому, ни одного мужчины. Кастрюли и формы при каждом движении создавали такую какофонию, что делалось жутко. Их прикрепили букетом к луке и

они давили на ногу. Сопровождаемая ахами, извинениями и пожеланиями счастливого пути, выехала она в сумрак весенней ночи. Станционные огни остались далеко позади и тем мрачнее показалась дорога. Вот ложбина, а там соломенный навес, где был убитый пастушенок. Надо туда спускаться. Ничего, подбодрись, приказала себе Мария Антоновна. Небо стало заволакивать тучами. Мария Антоновна поспешно спускалась по глинистому месиву в ложбину, и с ужасом почувствовала, что со всем букетом громыхающих кастрюль, едет на бок и сейчас свалится в грязь.

С утра лошадь была не кормлена и подпруга ослабела. Тяжесть кастрюль, дамское седло, сделали свое дело. Во избежание катастрофы, остановила лошадь, осторожно сняла большую кастрюлю и опустила в грязь рядом. Опустила другую, так же осторожно, чуть шевелясь, сползла с седла, первой ногой попала в грязь, — второй на кастрюлю. Стала подтягивать подпругу, умная лошадь все понимала. Приказав сердцу молчать и медленно спокойно работая, Мария Антоновна перевесила все кастрюли на другой бок и вдруг услышала не в далеке чавкание копыт. Наверное бандиты, убившие из озорства пастушонка. Ездят, закрыв лица рогожными масками или сетками от пчел, как говорила молва. Ну, не все ли равно, подумала Мария Антоновна. Изменить все равно ничего не возможно, а может быть и не бандиты. И громко закричала.

— Кто живой человек едет?! Отзовитесь! Я не могу найти дороги, помогите! Эй, отзовитесь!

Молчание, и страшный бег, шлепание копыт удаляется. Словно дернул сразу четырьмя ногами конь.

Мария Антоновна подтянула подпругу, медленно все наладила, выравняла кастрюли, стала на них, и удобно уселась в седле. Двинулась. Добралась чуть живая до дому. И только около околицы позволила себе разрыдаться горючими слезами.

Оставив лошадь у околицы, пошла будить калмыченка, взять лошадь. Поднимаясь по лестнице на веранду она услышала взволнованный голос Федора Федоровича, а в окне увидела, как он жестикулируя, отчаянными жестами, пояснял свои слова...

— Я от него, он за мной только копыта цокают. И сколько их было, не могу сказать. Сперва совсем близко, потом затихли, вижу, меня подкарауливают. Я дал коню хлыста, а сзади гремит, звенит, и бубны и колокола — ничего не пойму. Ну знаете, на медведей ходил, на волков ходил, а такого ужаса не испытывал.

Мария Антоновна, как была в грязных сапогах, порванной юбке, вся выпачканная предстала.

— Голубчик, Федор Федорович, ведь этот живописуемый вами бандит — я. Я кричала, молила помочь, а вы растерявшись от страха, удирали от меня во все лопатки.

Федор Федорович растерянно смотрел, видимо не отдавая себе отчета о происшедшем.

# СИБИРЯКИ

**(Рассказ одной дамы)**

Я слишком долго задержалась в Петербурге, откладывая со дня на день мой отъезд. Да и как было уехать?

Начиная с 6-го ноября — традиционный Морской Бал. Ежедневно балы. Лесной. Как пропустить его, когда Лесники зало превращали в дремучий сосновый и еловый лес. Когда дышалось так легко, в этом фантастическом лесу, с блуждающими огнями всех цветов.

Как не пойти на бал Медиков, обещающих стать врачами наших будущих недугов, а сейчас таких веселых, приветливых, нарядных, таких чудесных танцоров и музыкантов.

Кончается бал. Музыка кончилась. Замирают огни, толпа движется к выходу и вдруг, «По черным клавишам» вальс Сивачева, оглашает затихающий зал, — это заиграл на рояле студент-медик, и в полутьме, не взирая на мольбы распорядителя, мы вальсируем, вальсируем до лестницы.

Эти балы были так многолюдны, что одно зало не вмещало всех танцующих и два оркестра музыки играли по очереди в двух этажах. Пологая лестница в пушистых коврах соединяла этажи.

Там Павлоны. Там Артиллерия. Там бал Пажей и пошло, и пошло, вплоть до Рождества, каждый вечер. Иногда в автомобиле или в санях дремлешь, еле держась, — каждый день, точнее утро, домой возвращаешься не раньше четырех, пяти часов.

Серенькое, петербургское пасмурное утро, с изморозью, заставляет вздрагивать, особенно на мостах Невы.

От балов, к концу сезона, совсем изнемогаешь. Однажды случилось. Из только что замолкшего зала второго этажа, я спускалась в первый, где уже гремела музыка и, зная, что как только войду в зало, немедленно буду приглашена и снова меня закружат в танце, я решила зайти в маленькую гостинную отдохнуть. Присела на диван, было пусто, тихо и я уснула.

Я очнулась от громкого разговора, проходящей веселой компании. Музыка уже снова играла на верху, а в зале первого

этажа была пауза. Сколько же времени я проспала? Долго. Бал подходил уже к концу.

Вернувшись домой, я бросила на камин веер, перчатки, капор, чуть живая добралась до постели. Проходя мимо мамы, ответила нечто невнятное на ея вопрос, ухнулась в холодные простыни и уплыла в какие то неведомые дали. Встала поздно, услышала в гостинной шум. Там уже собрались друзья. Я вышла, все стали меня расспрашивать может быть через чур подробно, как удался вечер. Я добросовестно рассказывала. И вдруг при моих словах — «веселились до упада», нестерпимый хохот зарокотал по комнате.

Кока Поморцев взял с камина мой веер и, развернув его, высоко поднял передо мной, — очевидно они подготовили эту мизан-сцену.

— Смотрите, господа, — и он показал мне открытый веер. На атласе цвета слоновой кости, был воспроизведен прекрасный четкий рисунок карандашем. На диване сидела я, облокотившись на спинку дивана и, прижавшись плотно щекой к ладони, спала. Глаза закрыты, полное спокойствие, прекрасно выписано даже мое платье. Очевидно кто то, хорошо рисующий, проходя мимо, увидел что я сплю, взял у меня из рук или, может быть, упавший веер, нарисовал и, сложив, положил мне на колени. Друзья мои хохотали, — «здорово вы веселитесь на балах!» И каких только издевательств и острот не наслушалась я. Я лишь отмахивалась, как от надоедливых мух...

Вот в таком полумертвом состоянии я выехала из Петербурга. Ехала на елку. Елку нужно было делать в школе для трех сот детей. Дети заводских рабочих ждали елку, знали о ней и давно уже мечтали. Сердце мое ликовало, — какие чудесные вещи купила я у Пэтэ в Петербурге и у Триака в Москве. Я бросила в Петербурге у брата два больших чемодана, что бы вместо них взять ящик с игрушками.

В Петербурге на улице было месиво, — утром рано, еще снег лежал ровной пеленой на Васильевском славном Острове, но дворники наводили порядок, сгребали с тротуаров снег на мостовую. Извозчики расшвыривали полозьями мокрые комья и от белей пелены оставалась серая каша...

И вот блеснул в окно вагона первый снежный пейзаж, искрясь на солнце. Припав носом к стеклу, мне казалось я дышу этим розовато-прозрачным воздухом. Небо поднимается все выше и голубеет далекое. Отдельные облачка, как сбитый сахар, вот, вот, подчиняясь ветрам от багровеющих далей, подлетят и заденут крышу вагона. А снежные поля все глубже, угробистей, серебристей, в своей чистой девственной красоте.

И вот я в Перми. На главной улице, крепко заснеженной, но с хорошо расчищенными тротуарами, я восторженно смот-

рю в окна огромного аптекарского магазина. Какие красоты развешены в окнах! Боже мой, необходимо прикупить для елки! Все это было из фольги, тонких нитей, цветных, серебрянных, золотых, арфы, скрипки, венецианские фонари, все персонажи сказок Андерсена, китайские богдыханы, соловьи, тройки, пары, танцующие менуэт. Все горело изумрудами, рубинами на солнце. Ах, какая работа! Какая филигранная работа! И я выбирала, выбирала, выбирала...

Короче, — придя с катка в гостинницу, я изумилась, — три огромных твердых картонки с игрушками, были присланы из аптекарского магазина в мое отсутствие. Оплатив счета, я пришла в свою комнату, высыпала все мои деньги на стол и стала считать. Само собой разумеется, что всякая толковая женщина, уезжающая из Петербурга домой, постарается купить возможно больше интересных вещей в столице, а денег на дорогу оставит в обрез. При моем исключительном благоразумии, я тоже сделала так, но и в оставшейся на дальнейшую дорогу от Перми до Вятки, сумме, была пробита большая брешь, покупкою елочных украшений в аптекарском магазине.

В Петербурге я невнимательно слушала портье отеля, который принес мне билет до Перми, и сказал, что в Перми до Вятки нужно взять новый билет, но это небольшой отрезок пути, и что то еще говорил скучное и неинтересное.

Странный человек, он не понимал, что я уезжаю из головокружительного прекрасного Петербурга к себе на завод. И что две трети меня, я оставляю в огромных залах, наполненных музыкой, конфети, серпантин, золоченых ложах театров, концертов и лишь одна треть меня, моя усталая тень, слушает его...

В Перми я узнала новость, даже обрадовавшую меня. Поезд на Вятку, где меня ждали, идет два раза в неделю.

Теплая светлая гостинница, прекрасный каток, почему же не пожить здесь два три дня. Хозяин, добродушный сибиряк и его жена, все хмыкали неодобрительно, глядя на мой костюм.

— Хм, и как это вы в такой куцавеечке ходите, как это вы поедете в этой куцавеечке? — качал головой хозяин, недовольно насаживая на нос очки в серебрянной оправе.

И чего им дался мой костюм?! Лакированные сапожки на пуговицах, с серым сукном, словно гетры, очень теплые. Серая смушковая шапочка, тоже теплая. Костюм серый, суконный, на хорошей теплой подкладке, отороченный узенькой полоской серого барашка. Совершенно зимний костюм, чудесный парижский костюм. И это постоянное «хм» и «как только вы поедете», мне ужасно надоело и я старалась не попадаться ему на глаза.

Увидев прекрасный каток, я купила коньки, — не сидеть же дома. Сейчас с сомнением глядя на прибавившиеся картонки с игрушками, я стала подсчитывать деньги. Завтра утром идет поезд, и слава Богу! Ветер задул сильнее, стало хмуриться, на катке стало пусто и скучно. Я рада была, что еду домой. Отложила кучку денег за гостинницу, кучку для извозчика, поглядела опять на картонки, — одного извозчика не хватит, — отложила для другого. Билет, — сколько может стоить билет?

Ветер стучит в ставни, темно на улице. Накинула на плечи мягкий оренбургский платок. На каток не пойду. Уложила вещи, завтра утром рано надо быть готовой. Коньки положила в угол комнаты, — кому нибудь понадобятся, а дома у меня есть и «Меркур» и «Снегурочка». Закончив сборы, пошла к хозяину расплачиваться. Денег осталось совсем мало. Решила не ужинать. Завтра буду дома и хорошо поем.

Хозяина за конторкой не оказалось и пришлось пойти к нему в столовую. Хозяин ел холодного заливного поросенка, под хреном, со сметаной. Желе, дрожа, светилось янтарем. Есть хотелось ужасно. Хозяин предложил, отрезая белоснежную ножку, густо уснащенную сметаной и хреном, поужинать. Отказалась с достоинством.

Странно, когда в кармане денег сколько угодно, спокойно соглашаешься выпить, поесть, если угощают и даже сам скажешь иногда, — а я пожалуй, закушу с вами, — или, — а я, пожалуй, чайку выпью с вами, с удовольствием.

А вот, когда денег узко, является какой то стыд, удерживающий тебя согласиться и даже начинаешь плести глупую историю, что, — по вечерам не ешь, вредно, хотя вчера преисправно, на его глазах, ел жаренную утку с яблоками и похваливал. Когда сыт и деньги в кармане, спокойно глядишь в рот, где исчезают лакомые кусочки, рюмки рябиновой, зубровки, опять куски, уснащенные хреном со сметаной, так терпко и свежо пахнущим...

Да, я отказалась и старалась не смотреть, — вдруг в глазах моих хозяин прочтет голод и желание. И особенно смущал меня какой то незнакомый человек, тоже жующий что то в углу столовой. Хозяин кончил есть и мы пошли к конторке. Я заплатила по счету и тут меня огорчила новость.

Пересадка, как назвал в Петербурге, в гостиннице, портье, оказалась не просто пересадкой с поезда на поезд в Перми, как поняла я. Железная дорога от Перми отстояла в восьми верстах. Был недостроен какой то железно дорожный мост и на лошадях надо было проехать эти восемь верст. Для меня это уже пахло трагедией и мне пришлось бы сознаться хозяину, что эти восемь верст для меня полная неожиданность. Сму-

щал меня тут же сидящий не подалеку, человек с черненькими усиками. Я, никогда не бывавшая в таких условиях, все же соображала, что за восемь верст извозчику, даже если он погрузит весь мой багаж в одни сани, нужно платить не мало.

Хозяин в это время говорил, что нужно купить полушубок или что то теплое, и нельзя ехать в таком виде, как я, иначе меня придется зарыть в сено, чтобы я не замерзла... Жена его сочувствующе слушала и кивала головой, подпирая голову ладонью. Никому из них и в голову не пришло, что у меня попросту нет денег, ни на извозчика, ни на полушубок и, что я не смогла бы поесть даже один раз за целый день, если бы условия были даже нормальные, т.е., если бы я села в поезд в Перми. Денег было только заплатить от Перми до Вятки и одному извозчику, от гостинницы до вокзала.

Что же делать? Давать телеграмму? Но ведь после завтра Сочельник. Следующий поезд пойдет только через два дня и праздник Рождества Христова я проведу в чужом городе. Выслушав все, я спокойно вышла из комнаты, поблагодарив хозяина за советы и участие, и пошла к себе. Пойти разве в магазин, еще не поздно, аптекарский магазин открыт, и сознаться, что я не расчитала, не предвидела таких неожиданностей и осталась без денег. Попросить взять обратно вещи? Стыдно. Не могу. И потом, это такое очарование эти вещички! Как красиво они будут на елке! Как загорятся разноцветными огнями! — Вот сторож, приволокший на дровнях огромную елку, привинтит он ее к потолку, прикроет звездой верхушку и две молоденькие учительницы, Варенька, Мотя и я полезем украшать елку. Мотя самая безстрашная, лезет на самые верхи, потом Варенька украшает середину елки, а нижний этаж, украшаю я. Тут самое заманчивое.

Крымские яблочки, розовенькие. Грецкие орехи в сахаре, в золоте, в серебре. Сухая пастила, абрикосовская, прохоровские цукаты, мармелад, мятные пряники, медовые коврыжки утыканные пятью крупными миндалинами, царская карамель... У ствола елки апельсины, мешочки с разными конфетами и каждому ребенку игрушка и книжка, — это была моя часть елки.

Вижу ясно и ребятишек, все это серо-глазое, голубо-глазое, веснущатое, вихрастое, пузатенькое царство перед моими глазами, как живое, — выставив свои животы, пальцы от восторга во рту, глаза летят от верхушки елки к подножию и обратно к верхушке. И всего этого не будет...

Господи, сотвори чудо! Довези меня домой. И слезы градом покатились неудержимо на оренбургский платок.

Ночь не спала и все думала и ничего придумать не могла. Поутру решила. Посылаю телеграмму домой, буду ждать пока вышлют деньги. Завтракать пойти или потерпеть. Есть хотелось до боли под ложечкой... Потерплю.

Стук в дверь. Верно хозяин. Как объясню, что не поеду?!

— Вы что ж, барышня, не собираетесь? Попутчик вам нашелся. Тоже в Вятку едет, он вас и довезет. Возок у него просторный и вещи все заберет и тулупчик у него есть запасной, вам погодится. —

Я думала, во сне или на яву? Но все же я должна ему заплатить. Ну, ничего в Вятке меня встретят и за все заплатят.

Погрузили в возок мои вещи. Я попросила дать стакан горячего молока и две ватрушки, и с жадностью их съела. Сердечно распрощалась с хозяевами и, не обращая внимания на закутанного в шубу и башлык человека, сидящего на облучке, я вошла в возок, влезла в полушубок, пахнувший камфорой и пара серых лошадок понеслась.

Я отдала ему все деньги на билет и когда он пришел ко мне в купэ с билетом, уже без башлыка, я увидела черноволосого человека, сидевшего неподалеку при нашем разговоре с хозяином.

— Как, и вы едете? — удивилась я.

— Да я же вас и вез, — разсмеялся он. — А вот не хотите ли коржиков, — и он развернул сверток, а там индейка, коржики и бутылка домашнего кваса. Ох, как мы поели!

В Вятке меня встретил муж и спутник мой при мне рассказал ему всю мою эпопею.

— Гляжу, от поросенка отварачивается, от ужина отказывается, а глаза голодные. Про полушубок промолчала. На восемь верст от станции, что нужно было проехать лошадьми, огорчилась, но вида не подала. А на глазах слезы. Ну, а остальное то уж хозяин досказал, — и про коньки, и про игрушки... Вижу дитя малое и гордое, вот и прикинулся попутчиком, а, кстати, и делянки у меня в здешних местах закуплены. Больно хороши здесь у вас вятские леса...

И остался этот лесопромышленник нашим большим другом.

Есть ли теперь такие люди, что бы догадываться о бедах и горе других?

Охота ли им?

Ах, хороши были сибиряки!

# ПОМНИШЬ ЛИ

Дорогой мой Василек, а может быть, Василий Сергеевич, как хочешь, мне все равно.

Сейчас передо мной две буквы «В. Р.», вышитые гладью по суровому полотну, на голубой подкладке. Вышиты оне заботливой рукой Шуры, ко дню твоего Ангела. Это мешок для бумаг. Как он уцелел у меня, как попал со мной сюда, — когда от разгрома не осталось ни одной вещи из прежней жизни, — не знаю.

Но он сейчас передо мною и страница за страницей перевертывается в памяти прошлое.

Вышивала это Шура, именно Шура, а не Александра Сергеевна.

Вот она, как живая стоит передо мною, в воздушном платье, с огромным букетом роз у пояса. Тоненькая, вот, вот переломится. Я очень любила эту карточку. Я всегда сидела у тебя в кабинете, в глубоком кресле, помнишь? — и держала в руках Шурин портрет...

В этих двух буквах вижу тебя, в мягких чустах, только что вернувшегося поутру с охоты. Весь, как лесной, пахнешь сосновыми иголочками, мягко бежишь ко мне, здороваешся, бежишь бриться и на службу...

Вспоминаю, как бочком, по опушке леса, быстро идешь ты по сжатому полю за куропатками, а мы со Стрельниковым, или моим любимцем, тихим Алексеем, едем шажком за тобой...

Вижу, как у двери сидит мой любимец Кузьма Тарабукин, которого ты оставлял всегда ночевать и караулить меня, уезжая на охоту.

Несет дрова в камин Иванчик. Прыгает Нерошка за пауком под лампу. Помнишь, я привезла паука из Петербурга, это был огромный серый паук. Лапы его комично извивались и я прикрепила его на проволоке к висячей, над столом, лампе. Лапы паука были устроены так, что они неустанно шевелились по разным направлениям. И Нерошка не мог выносить вида этого паука. Когда бывали гости, на паука надо

было надевать колпак, иначе, не смотря на сидящих за столом, Нерошка бросался на паука, стараясь его схватить во что бы ни стало.

Тихонько бренчит на гитаре бухгалтер. Вежливый, всегда задумчивый, Эгерман, коротает с нами часы у камина. А кругом завывает мятель. Глубоко занесена усадьба снегом, «замело, запуржило». А мы, в зеленой гостинной сидим уютно. Ты не любил сидеть. Ты не умел сидеть. Ногу под себя и прикурнешь на диванчике.

А я играю, пою. «Наша улица травою заросла». Помнишь Чесменскую?, которая страшно завывала (по ея мнению сопрано), желая устроить мне конкуренцию?

А помнишь, как крестили жеребят? Как лечила я их, грела на своих коленях, где и одна жеребячья морда не умещалась. А как они меня знали, любили. Какой грохот подымали, издали зачуяв меня. И фыркали, и ржали, и топали копытами.

А помнишь, как Грумка, по ночам, вытаскивал мои вещи из чемодана, приготовленного к отъезду и сам ложился в него? А утром вылезал из чемодана, хитро посматривая на меня. — Что, матушка, опоздала, не уехала. — А как берег меня ночами. Ляжет на ковер возле кровати и ушки на макушке. Какие это были искренне неподкупные друзья! Грумка, Тарабукин и Иванчик.

А потом твоя болезнь. Как ты задыхался в санатории Соловьева, ночам стонал. А я плакала и вымаливала тебя у Бога. Ты остался жив. К лучшему ли?

На память об этом времени остался у меня альбом. Помнишь, мне его преподнесли торжественно, устроив прощальный вечер. Как благодарили меня! Какие речи говорили! Как многие плакали о моем отъезде!

Не мудрено, среди 104 трупов или полу-трупов, было две живых души, — я и Блинов. Жена его дышала кислородом и каждую минуту мог быть конец. Он устал, пал духом, был скучный, неинтересный. Я же оживляла всех, заставляла думать, верить, что они еще живы...

— «Свет, ты мой», — называла меня старуха Габай, 92-х летняя старуха...

И вот все минуло. Ушло. Через два года наша серебрянная свадьба, но... не было той тройки, которой не умел бы ты совладать и укротить, а вот с жизнью не справился.

Пошло нас с тобою швырять по ухабам и промоинам Российской неразберихи... Сначала вместе, потом врозь. Жизнь прошла и «вернуть ее снова нельзя». Помнишь как пела Верочка Сорокина?

Не знаю почему захотелось мне написать тебе. То ли

причиной этому две буквы на суровом полотне. То ли дням одного из нас подходит конец. То ли ты вспомнил обо мне и вызвал мой образ, потревожил меня. Не знаю. Встретимся мы с тобою в этой жизни едва ли.

Мое прошлое письмо, вздор.

Помни и знай, — я вообще человек, не признающий никакой мести. Я никому не мстила. За меня всегда расплачивалась судьба, если кто нибудь делал мне плохо. Тем более тебе я не способна никогда причинить никакого зла. Я любила тебя. И довольно вот такой сцены, — заболел Сережка черной оспой. По небрежности, железнодорожный врач признал ангину. Горничная Зина с весьма нежным сердцем, бегала на конюховскую мазать Сереже глотку иодом и убирала потом спальню нашу. Пришел Алексей и попросил Сережку убрать с конюховской, что бы не заразить детей. Бабы говорят, наверно у него оспа. — Уже шелушится, — сказал он.

Я решила, что заразилась оспой. Ведь Зина моя горничная, возится с моими платьями, постелью. Вот у меня уже жар, болит голова, ну, совершенно все признаки оспы. Я плачу, ты и Танечка с обеих сторон, стоите на коленях, оба плачете, глядя на мои слезы, уговариваете.

— Не плачь мамочка, вот видишь, моя щека у твоей, значит и я заболею, — и оба вы прижимаетесь к моему лицу. Ты клянешься тоже заболеть, или умереть вместе, или изуродоваться со мной.

Ну так вот, что бы ни случилось потом, но таких минут забыть нельзя, они остаются на всю жизнь.

Ну, а теперь тебя нет. Передо мною две буквы «В. Р.».

Получив это письмо напиши только — «письмо получено». Мне хотелось бы знать, что мое, такое, письмо попало в твои руки, а не чужия.

Ну, будь здоров, прощай. Твоя Ната.

# ЧУЖОЕ ПИСЬМО

«...Прости, м. б. эти строки встревожат тебя, м. б. рассердят, все равно я пишу. Ты должна знать все...

Настало время, когда письма твои стали редки, холодны, отчужденны, порою казалось, враждебны. Ну, как ненужный визитер, принять которого необходимо, а там другой, которого ты любишь, в саду волнуется и злится за прерванное свидание. Я понимал, но я лгал себе. Не может быть. Ведь так любить как я, никто другой не сможет. Яска моя! Ведь ты

не ушла от меня? Можно ли забыть наши зори на Островах, наши вечера в Гатчино, в Ялте, Кисловодске! Кончится война и опять мы будем вместе.

Я рвался в отпуск, наконец, я в Петербурге, по дороге я заехал к твоей маме. Она меня очень любила, я получал от нея чудесныя ласковыя письма в лазарете, они давали мне бодрость, а твои — твои всегда терзали меня. В них, как в красивых ядовитых цветах, было упоение и боль. Мама была смущена, ты уехала и адреса пока ей не прислала. Я метался по комнате, случайно подошел к роялю и, заметив беспокойный взгляд мамы, я внимательно взглянул по направлению его и увидел на рояле, кроме небрежно разбросанных нот, длинный конверт с фирмой знаменитого московского фотографа.

Твои портреты, подумал я, схватил конверт, шесть листов большого формата, жадно вытаскиваю осторожно из конверта, лицо, чужое лицо. Умный выпуклый лоб, волнистыя высокими зачесами на висках, волосы, близорукие выпуклые светлые глаза под темными ресницами, волевой подбородок и улыбка. Непобедимая улыбка. Не оторваться.

Мама бледная, сразу потускневшая от жалости ко мне, положила руку на плечо.

— Пойдем, Вавочка, — взяла портреты и положила на рояль.

— Пойдем, Вавочка, — вздохнув, повторила она, твердо нажимая на мою руку.

— Кто он? — еле промолвил я, не справляясь со спазмой в горле.

— Доктор, — коротко ответила мама.

— Хорош! Он очень хорош, — вырвалось у меня против воли.

— Да, модный врач, — проронила мама.

— Очень любит?

— Кто? Он? Да, — она — она никого не любит. Не любила и тебя. Она любит только себя. А другой, это только придаток, отражение ея чувства, как зеркало, в котором виден свой жест, свое движение, так как каждому она вдавливает свою волю и любит только это, свое, а ушла и с собою унесла все. Не мучайся и не пытайся встречаться, мой хороший мальчик.

Свет в глазах моих потускнел, как будто снова открылись затянувшиеся раны и заболели нестерпимо. Я хлопотал второй отпуск, мчался к ней, зачем? Я подошел снова к роялю, внимательно впиваясь в сильную большую фигуру. Шесть различных поз. Как они мне запомнились.

Я знаю, я чувствую, что ты в Петербурге. Я ищу тебя, я знаю твои привычки, от трех до пяти фланирую по Морской, встречаю много раненых, приехавших так же на отдых. Вот мой друг барон Райндорф, как бы случайно я вспоминаю твое имя.

— Да, да, как же, на днях видел с Сашей Горич.

— Где?

— У Ольги Николаевны.

— Здорова, весела?

— Счастливая, довольная, как всегда. Был Костя Миртов, пели его романсы и под рояль и под гитару.

— В такое время, — с упреком проронил я.

— А знаешь, это хорошо, отдых. Нельзя, что бы наша военная обстановка перенеслась на всех. Тыл должен быть спокоен, раз мы его защищаем. Приезжаешь сюда, забываешся, отдыхаешь. Ужасен мрак в окружающих!

Я стал снова искать тебя. Ты просто сказала — «будем хорошими верными друзьями». Я согласился на все...

Было тяжело. Вероятно и тебе, это я по лицу видел, когда прощался, возвращаясь в полк.

Писем не было. Ты ушла совсем.

Опять ранение и на сей раз серьезно и вероятно на долго. Подлечился, вернулся в Петербург. Никто о тебе ничего не знает. Твоя мама уехала за границу. Может быть и ты там, буду искать, как только поправлюсь.

Моя мать долго и упорно умоляла меня жениться. Раны изрядно изуродовали меня. Нервное потрясение, от них ли, от постоянной ли неизбывной тоски по тебе, моя Яска? Хоть бы слово знать о тебе. Но происходит страшный кавардак. Моя мать слегла и умоляла меня жениться на Надиньке. Эта тихая девочка, институтка подруга сестры моей, влюбленная в меня с детских лет. Мама твердит, —

— успокой меня, женись, я умру, останешся один, больной, одинокий, какое будущее?

Маме совсем плохо. Соглашаюсь. — Женюсь на Надиньке. Худенькая, бледная, синеглазая, счастливая исполнившейся мечтою, а я?

Маму в кресле вынесли в зало, венчание у нас на дому. Я еле коснулся холодных губ невесты. Телефон. Твой голос.

— Вавочка, правда ли, что ты женишься? Ты? Как же это возможно? А я? Как же ты смеешь жениться? Сейчас же приезжай в Северную Гостинницу. Та же комната № 18. Помнишь? Я жду...

Я не помню, как одел шинель и помчался на Знаменскую Площадь.

Яска моя, Яска моя, повторял я. И опять твой голос, твои глаза, твоя улыбка, все, все опять мое. Скорее, скорее торопил я мчавшегося лихача.

Вот Северная Гостинница. Огромное зеркальное окно твоей комнаты освещено. Круглые шары подстриженных деревьев под окнами те же. На них мы смотрели, сидя у этого окна, потушив свет. Какие были чудесные морозные ночи! Какие вечера! Круглые деревья казались снежными шарами.

Знакомый подъезд, без лифта взбегаю на лестницу, боковую, такую знакомую. Комната № 18. Я у двери, чуть стукнув, открываю и вижу, — в прохожую из комнаты выходит старый человек, надевая пенсне и изумленно смотрит на меня. Я извиняюсь, называю твою фамилию.

— Это № 18, — вразумительно говорит он, — вероятно вы ошиблись.

Спрашиваю швейцара. Тут какое то недоразумение. Тот спрашивает управляющего.

— Давненько они не бывали у нас. Очень хорошая госпожа, — радостно вспоминает он. Должно быть лицо мое было страшно. Он вдруг взял мою руку, крепко сжал и повторил, — очень хорошая была госпожа.

Я задыхался. Вырвался на воздух и не знал куда идти. Только не домой...

... Пронеслась буря. Нас размело по всему белому свету.

Где ты, Яска моя? Наконец, однажды за столиком в кафе, разговаривая со случайным соседом и уже по привычке, без всякой надежды, я назвал твое имя.

— Да, я встречал эту даму, несколько раз у знакомых. Она очень славный человек, — и он сказал твой адрес, по памяти. Может быть путаю, добавил он.

Яска моя, неужели это ты? Зачем ты не ждала меня в Северной? Зачем посмеялась надо мною, еще раз пробуя свою власть? Отвечай, если помнишь меня, если захочешь увидеть, и я приеду без размышлений, без условий. Адрес мой ———— ———— я буду ждать, считая часы, минуты встречи с тобой».

Письмо это, с фамилией похожей на мою и, видимо перевранной по иностранному, нашла я в своем почтовом ящике. Думая, что это кому нибудь из других жильцов нашего дома, я заткнула письмо в угол, куда затыкаем для почтальона случайно попавшие письма. Прошло время и опять письмо это в моем ящике. Опять возвращаю почте и в третий раз почтальон положил его в мой ящик. Фаталитэ.

Если судьба хочет, чтобы это письмо было прочтено мною, пусть будет так, прочту.

Если в моем рассказе «Чужое письмо» кто нибудь узнает, что он адресат этого письма, я буду рада, что нашелся хозяин.

Если прочтет его «Вавочка», другого имени автора письма я не знаю и прошу прощения за невольную фамильярность, то пусть он знает, что письмо это попало случайно в мои руки, а не Яске, которой предназначалось и если он пожелает, я ей направлю это письмо, если он даст ея адрес, или ему. Это все, что я могу сделать.

# В ГОРАХ КАВКАЗА

**(Отрывок из повести)**

... Лидия Сергеевна сидела на диване, поджав щегольски обутые ножки, с томиком французских новелл в руках. На обложке книги была яркая картинка, — нарядная пышная дама сидела в кресле, а перед нею, в почтительной позе, склонился молодой человек для поцелуя руки.

В данный момент Лидия Сергеевна была увлечена разговором с бонной. Ведь впереди был путь в страну с чудесным названием, — Темир-Хан-Шура. И с каждым оборотом колеса эта Темир-Хан-Шура все приближалась. Эмма слушала внимательно, поток чудесных, но мало понятных для нея слов и образов. Да и Борька, трех летний карапуз, мешал плавному течению мыслей. Он, энергично работая руками и ногами пробирался в сетку для багажа, опираясь попутно, то на спинку дивана, то на плечи и голову Эммы. От волнения томик новелл был перевернут вверх ногами и картинка на обложке приняла причудливый вид. Нечто акробатическое, — молодой человек и дама висели в воздухе.

Слова сыпались для Эммы незнакомые. Порт-Петровск, Темир-Хан-Шура, джигиты. Залкипри — лакей, повар Мамэд. Конечно, это горцы, с лихо заломленной папахой в чудесной белой черкеске, как танцуют в балете. Абрэки, чурэки, сакли, духаны. Все вычитанное из книг, когда то, поэтизированное в очаровательной головке Лидии Сергеевны. Отчасти виноват был и ея супруг, — он в таких чарующих красках описывал жизнь на Кавказе, что долго и упрямо упирающаяся Лидия Сергеевна, наконец, сдалась на эти соблазны и решила ехать к мужу.

Уезжать так далеко, да еще с маленьким ребенком, ей не хотелось и главное, не хотелось разставаться со всеми родными, друзьями, театрами, концертами, словом всем тем, к чему приросла. Да и климат, куда сначала был переведен муж, был нездоровый и муж не настаивал. Но вот назначили ему перевод в Темир-Хан-Шуру и он описывал этот город

в таких ласковых, нежных красках, что страх у Лидии Сергеевны прошел и сменился восторгом. Да и приятельницы, и родные, и родственницы стали советовать ехать. Муж молодой, скучает, а желающих «утешить» красивого мужчину, найдется сколько угодно. И посыпались рассказы на эту тему... Все эти разговоры тревожили Лидию Сергеевну и когда она получила чудесное нежное письмо от мужа, то бросилась к матери.

— Мамочка, пожалуйста, помогай укладываться. Мы едем с Борькой к Папе.

— Когда? — изумилась мать этой поспешности.

— Завтра. Как нибудь уложи кое что, главным образом Борькино, тебе поможет фрейлен, а мое пришлешь после или там все куплю.

И Лидия Сергеевна вся горела от восторга ехать в эту Темир-Хан-Шуру, которая воплощалась в сказку о Шемаханской Царице, Золотом Петушке... словом, в ея восторгах Римский-Корсаков играл не малую роль.

Разговоры с приятельницами и кузинами не выходили у нея из головы. И вот бесенок шепнул ей на ухо.

«Приезжай сюрпризом, не предупреждая». А если приятельницы нашептывали недаром и, действительно, муж скучая, нашел себе развлечение, то... но она гнала эту мысль. Гнала, но телеграммой не предупредила. И дала телеграмму только в последнюю минуту, садясь в поезд. После долгих колебаний телеграмму она дала из страха оказаться одной с почти неумеющей говорить по русски немкой и ребенком.

Эмма стала прислушиваться внимательно к словам только тогда, когда Лидия Сергеевна начала перечислять сласти и фрукты, — в этом она кое что понимала и сейчас с большим аппетитом грызла абрикосовскую сухую пастилу, своими здоровенными белыми зубами. Названия были понятны не все. Урюк, кищмишь, рахат лукум. у нея почему то от этих названий щекотало в носу и хотелось чихнуть.

Какой то пассажир, проходя мимо купэ, приостановился, посмотрел на крепыша мальчугана, карабкающегося в сетку, на двух дам, оживленно беседующих, остановился глазами на книге, перевернутой вверх ногами, и расхохотался до слез. Схватил мальчугана, подсадил в сетку и исчез.

За обедом, Борька, увидев подсадившего его в сетку незнакомца, стал настойчиво требовать, —

— позови мальчика ко мне, играть.

Молодой человек оказался чудесным помощником и Лидия Сергеевна могла зачитываться романом, а главное, обсуждать безконечно с Эммой заманчивые перспективы. За-

нимала новизна. Каждая большая станция, где останавливался поезд, давала что нибудь новое. Виноград выносили, на станциях, в узких высоких корзинках такое множество сортов, которых даже у Елисеева в Петербурге не встречалось. И не мудрено. Эти персики, виноград и дюшесы не перенесли бы малейшей тряски в дороге. Восточные наряды, красивые смуглые лица, — все было ново и чаровало наших дам.

А поезд несея на всех парах. Все было чудесно до Порт-Петровска, где она назначила телеграммой мужу встретить их. Сердце Лидии Сергеевны радостно билось, — вот сейчас увижу милое лицо, серые близорукие глаза, ласковые руки обнимут меня, вскинут Бобку на плечо и мы пойдем с ним, — мечтала Лидия Сергеевна. Все мои хлопоты кончаются, он будет думать, а я отдыхать.

Поезд медленно подходил к перону, отфыркиваясь и шипя. Как медленно тянется платформа. Обычно муж встречал всегда в самом начале платформы. Глаза ее ищут знакомое лицо. Мужа нет. Носильщики захватили багаж, фрейлен Борьку. Спазма обиды — не встретил, — горько засела в горле. Ну, а как же дальше?

Все было продумано до Порт-Петровска и совершенно темно будущее. Какие шаги предпринять? Убедившись, что мужа нет, оставив Бонну с сыном в дамской комнате, пошла к начальнику станции. Узнала, что какой то господин приходил на станцию к поезду, то ли вчера, то ли третьего дня. Ждал жену.

— Но извините, народу много, поездов много, смущался начальник станции. Точно не запомнил его лицо. Начальник пошел с кем то поговорить и оказывается кое что разузнал. В гостиннице такой то, один господин стоит уже три дня и ждет жену. Поезжайте, наверное это он. Усадил Лидию Сергеевну в фаэтон, сказал кучеру адрес и тот живо примчал ее парой лихих лошадок, к зданию гостинницы, совершенно исключительного типа. Это каменный квадрат с единственным входом посредине в одной из стен квадрата. Снаружи никаких окон. Внутри, кругом квадрата, во втором этаже тянется балкон, безпрерывно по всем четырем сторонам. На этот балкон выходит окно и дверь из каждой комнаты.

Она сказала внизу человеку фамилию мужа и попросила указать его комнату. Понимал ли этот человек, с которым она старалась говорить, но она его не понимала, но раз ведет, значит, понимает и знает, что мне нужно, думала она.

На веранде-балконе стояло несколько зеленых стульев. Человек жестом пригласил ее сесть. А сам зашел в одну из комнат. № 19, отметила она. Вышел и, проходя, сказал ей:

«Жды, сычас будут!» Она сидела и ждала. Встала, подошла к перилам, посмотрела во двор, скучные унылые кусты, прошла мимо окна № 19. На окне стояла бутылка. Две рюмки. Помидоры, виноград, груши, две тарелки с холодными объедками курицы и каких то костей. Комната в темноте, за кисейной занавеской. Тоска сжала ей сердце.

Боже мой, что такое, мой муж с кем то в этой омерзительной комнате. Два дня ждал меня на вокзале и вот проспал мой приезд с какой то женщиной! Ноги подкосились и она еле дошла до стула. Послышался шум и растерзанная девица, выглянув из двери № 19, шмыгнула в противоположную сторону от Лидии Сергеевны, по балкону. Лидия Сергеевна была близка к обмороку. Но заставила себя мужественно встретить удар, посмотреть мужу в лицо, и ни слова не сказав, не слушая никаких оправданий, лжи, объяснений, уйти и уехать первым поездом домой, к маме, и никогда не видеть мужа.

— Горький ты, горький мой Борька. Будешь ты мамин сын, расти без отца...

Прошли ли минуты или часы, но за это время она пережила, перестрадала за все будущее, и за все вынесенное ею решение... В сердце стало пусто и холодно.

Трус! Не смеет выйти. И она решила презрительно уйти, не сидеть, унижаясь и чего то ожидая. Может быть извинений, трогательных слов, примирения, — никогда! Она попробовала встать, ноги не держат, тело безжизненно, вяло...

Из номера 19 выходит мужчина. Видимо ему стоило много труда привести себя в порядок, — голова мокрая, гладко причесана, запухшие глаза, лицо опухшее, свеже выбрито и подпудрено. Опасливо выглянул он, осмотрелся кругом и смело вышел, прошел мимо Лидии Сергеевны, позвал человека, что то поговорили, человек показал глазами на Лидию Сергеевну.

— Ишак! — грозно заорал он.

Человек подошел к Лидии Сергеевне, что то говорил. Она не понимала и не слушала. На душе было мутно, тошно. Совсем разбитая, вернулась она на станцию. Тяжкие мысли шли с нею, — значит этот человек три дня ждет жену и утешается. Где же утешается мой муж, ждущий меня много больше времени? И не шли из ума, не могла она забыть и эти объедки на окне, и счастливую физиономию мужчины из номера 19. Жена его не накрыла с поличным, спасся...

Лидия Сергеевна постарела в этот день на много лет. В ней, точно, что то сгорело, сломалось. Когда вернулась она на станцию, по лицу ея начальник станции понял, что

произошло что то тяжкое и принял горячее участие в судьбе этой семьи.

— С Богом поезжайте домой, все будет хорошо. Сейчас найду возницу. Теплое есть что нибудь кроме того, что на вас?

— Нет. Муж писал, там жара и все в цвету.

— Это там, в Темир-Хан-Шуре. Туда надо добраться, горы, пропасти, скалы, ветер. Я дам кучеру меховое одеяло для вас.

Серьезный, суровый кавказец, взял Борьку в охабку и понес в фаэтон. С моря дул сильный холодный ветер.

— С Богом, — напутствовал начальник станции, — не мешкайте. Надо перевалить ущелье до темна. Не бойтесь, это самый верный надежный и опытный ямщик, — мой друг, — заботливо уговаривал он.

Вышла Эмма.

— Эту женщину — мадам не вазму. Большой, толстый, крычать будет, шуметь будет. Дорога опасный, сурьезный. Я смотри лошадей, нельзя смотри ее.

Уперся. Ни за что, ни слезы Эммы, ни убеждения Лидии Сергеевны, ни уговоры Начальника станции не сломили его упорство.

Как Лидия Сергеевна была благодарна ему потом за это упорство. Начальник встал на сторону ямщика.

— За малчик отвечаю, за женщину отвечаю, а как я беду вазму! Она беда, и махал кнутовищем в сторону Эммы. Пришлось ее оставить. Начальник обещал отправить ее на другой день с верной оказией.

Станция скрылась из вида, скрылась и башня водокачки. Становилось холоднее, ветряннее. Мягкий фаэтон укачивал Лидию Сергеевну. Ямщик опустил фордек коляски и сказал, —

— Возмы малшик, ложись, — и закрыл их теплым одеялом, — не подымай головы и не бойся ничего.

Последнее, что увидела Лидия Сергеевна, — пропасть слева, справа острый угол скалы, который они должны были обогнуть, и как узнала потом Лидия Сергеевна, за день до их проезда, огибая эту скалу свалились два фаэтона с людьми и товарами, неосторожно не убравшие верха.

Ямщик стоял на месте, пережидая порыва ветра. Лидия Сергеевна лежала, не шевелясь, прижав Борьку головкой к груди. Взвыл и пронесся вихрь. Лошади рванули и через две три минуты экипаж остановился. Кучер снимал одеяло, поднимал верх коляски и ласково говорил, —

— Теперь знаишь почему не хотел бабу-мадам, она шумит, она крычит, за рукам хватает...

Спустились они в райскую долину. Вот она Темир-Хан-Шура! Все цветет, тепло, а это был сочельник.

Подъехали они к дому. Вышел старик татарин, старый, как мухомор. Вошли в дом, на письменном столе мужа лежала нераспечатанная телеграмма. Но и это, огорчив. что телеграмму муж не получил, не смягчило боли Лидии Сергеевны.

Конечно, муж не виноват, но теперь, после всех перенесенных мучений, он делался виновным во всем.

А в это время повар, как шуршащий сухой лист, что то мастерил. Муж любил музыку и часто составлялся квартет, трио и были металлические пюпитры. Мамед, собрал их, связал вместе. Сбегал в собрание, куда принесена была огромная елка к Новому Году, раздобыл чудесных веток от этой елки и соорудил елку для Борьки. Посадил его к себе на плечи и Борька украшал верхушку елки. В собрании же Мамеду дали сласти и игрушки. Да и не мало было привезено у Лидии Сергеевны. Борька помогал усердно Мамеду и работа шла во всю.

Елка украшена. Мамед принес какой то трехструнный инструмент, потом что то спросил у Лидии Сергеевны, та не поняв, ответила утвердительно кивком головы, видя что от Мамеда исходят уют, тепло и радость. Через несколько минут он явился с женой и дочкой, —

— Зузун, — сказал он, указывая на девочку, лет 14-ти.

Какой чудесный Сочельник устроил им этот татарин. Жена его, красавица, лет сорока, пришла нарядная, в пышном шелковом платье. На груди многоцветные бусы и нити шелка. А Зузун, как пташка и пела и танцевала, множество татарских танцев. Это скорее колебание и жесты, на месте. Накормил их Мамед пилавом и дал чудесный лаваш — овсянные лепешки.

Все устали и рано легли спать.

Ласковый Борька полюбил Мамеда и потребовал лечь с ним. Тот покорно прикурнул к углу дивана и Борька гладил его по щеке и бритой голове, приговаривая, —

— Ты хороший, ты шерстяной!

В сердце Лидии Сергеевны справедливость боролась с болью. Темные мысли а с кем муж сейчас встречает Сочельник?

Кто то тихо постучал в окно. В окне видна папаха, наверное к Мамеду. Блеснуло пенснэ или очки. Лидия Сергеевна разбудила Мамеда. В прихожей затопали шаги, значит человек вошел, подумала Лидия Сергеевна и насторожилась.

— Попроси барыню, на минутку, повидать.

Она вышла. Офицер в казачьей форме, представился.

— Простите, поздно, я побезпокоил вас. Без вашего разрешения я дал телеграмму вашему мужу. Завтра он будет здесь. Какое чудесное Рождество для него! Вы, сын, счастливец! Я узнал от Мамеда, что вы приехали, а к нам как раз привезли елку в собрание и это по моей части.

— Заходите, — пригласила Лидия Сергеевна, — заходите, еще рано. Я не привыкла так рано ложиться.

Эсаул Григорьев, прекрасный малый. Дружески поговорили они о жизни, нравах, развлечениях в этом городе. О каторжной работе ея мужа. Незаметно прошло время. Уже за полночь он ушел, оставив самое приятное впечатление.

— Эсаул Григорьев, — сказала ласково Лидия Сергеевна потягиваясь и уходя в спальню.

Лидии Сергеевны не спалось. Она хотела, ждала приезда мужа, но лучше не сейчас. А сейчас так больно, так щемит сердце и такая непонятная обида. Я никогда не смогу ни верить ни любить мужа по прежнему, после пережитого ужаса. Этот ужас выпустошил меня, — думала Лидия Сергеевна, без сна, с открытыми глазами. И знала она, что прежнее, беззаветное, бездумное уже не вернется...

# КАРТИНКИ С НАТУРЫ

## УТРО В СЕЛЕ «ЖИХАРЕВО»

Белобрысенькая девченка, подросток, стояла на нижней перекладине калитки в полисадник, худенькими руками держась за верхнюю перекладину, босой ногой отталкивалась от столбика и неслась в пространство, пока калитка с визгом не ударялась об изгородь и летела обратно.

Юбченка ея раздувалась, волосы вытрепались из двух толстых кос, глаза сияли неподдельным восторгом начинающаго авиатора. Одна нога плотно стоит неподвижно на нижней перекладине. Она обута в щегольский голубой атласный, изрядно потрепанный, ночной туфель. Другой — с ноги сброшен в пыль и виден лишь его тонкий атласный каблучек.

На розовой мордочке девченки невыразимый восторг, и розово-сиреневая полоска на горизонте, и опоясанный ею, как лентой, густой сосновый бор, и вихрь, в котором носится она, неистово отталкиваясь от столбика, восхищают девченку и она тонко заливчато поет, красиво и верно подражая кому то, кто пел эту песню.

От тоски я оторваться не могу,
И с тоской мне не расстаться, я не лгу.
Не пойти ли мне в малиновую сень
Опереться рукой белой о плетень.

Не плетню ли рассказать мою тоску?
Не пойти ль с ней на широкую реку,
И присевши на крутой, на бережок,
Рассказать что натворил со мной дружок?

Не поможет ли? Прнгреет ли она
Там, где шире и темнее глубина...
Оглянулась, — предо мной зеленый луг,
Весь в цветах, мой старый милый, верный друг.

Так неужто я покину белый свет,
И уйду, где ни цветов, ни луга нет?
Неужели мою девичью красу,
Косу русую с собою унесу?

Губы алыя и синие глаза,
Не прижмется к ним весенняя роса.
Как уйти туда, где кончен белый свет,
Где ни речки, ни цветов, ни луга нет!

На меня напал, вдруг, девичий задор,
Отряхнула бело-розовый подол,
Погрозила речке, ласковым волнам,
Погоди, покуда жизнь я не отдам!

Посмотрела на зелененький лужок,
На пригорке заиграл пастух в рожок.
Обожди река, в нужде приду опять,
Прыг, и резвому зайчишке не догнать...

Посреди двора был столб. Двух годовалый Мишка, на тонкой цепочке, с которой он справился бы и разорвал при малейшем усилии, был прикреплен к столбу. Он был большой шалун и цепочка была одета ему в назидание и исправление, умный хитрый зверь это понимал.

Его принесли от мертвой медведицы. То ли отравили ее мужики, то ли передралась до смерти с другой медведицей. Смешной малыш толкал маму и ревел горьким плачем, не умея повернуть мать, так удобно, что бы добыть молока. Пастух нашел его ревущим и притащил на барский двор. Дети вспоили, вскормили его и медвежонок важно гулял по комнатам, комично, клубком, скатываясь со второго этажа, где были комнаты детей, в столовую.

Начинал он схождение бочком, правильно, но уже со второй или третьей ступеньки ошибался и летел кубарем. Пил молоко, сидя на полу около маленького Вовочки, который ни за что не хотел пить и есть без своего приятеля. Часто, на ковре, белокурая головка ребенка дремала на каштановом курчавом животе медвеженка.

Двух летний Вовка и двух месячный медвежонок были закадычными друзьями. Медвежонку, сидящему на полу, рядом со стулом Вовки, давали со стола хлеб, намазанный медом, ватрушки, пирожки, поглощал он массу молока, обхватив бутылку лапами. А позднее дул прямо из крынки с густыми сливками, с ледника. Он был постоянно около людей и все понимал, этот умный зверь.

Ни разу в играх, подчас довольно жестоких со стороны Вовки, медведь даже случайно не поцарапал, не помял своего нежного друга.

К двум годам Мишка стал дурить. Говорят, конюх Василий, научил его глупой шутке, — как проходит баба в красном, Мишка скок, —либо платок с головы долой, либо подол

юбки на голову. У бабы летит из рук кашолка с яйцами, подойник с молоком, туес с ягодами, — ахти мне бабыньки! как полушалок то сгреб с головы, как бросится, ртище агромадный, я и обмерла, а сам драла.

Стали Мишку урезонивать. Конюха Ваську с конюховской долой выгнали, — зачем зверя испортил. Свои то уж знали его повадки и остерегались, а вдруг какую нибудь барыню-гостью напугает. Ну, вот, и посадили на цепочку... И то однажды переполоху было! Дети приучили Буренушку приходить к балкону и давали ей всякую всячину, то марковку, то салатный лист, то хлеб с солью. Однажды засиделись на балконе, пошли в комнаты, барыня-гостья шляпку оставила на балюстраде, на балконе. Пришла Буренушка, ничего со стола не дают, заскучала, увидела цветы, давай уплетать, пожевала, — не вкусно, откусила соломки с пол шляпки, уронила за балкон и ушла. Бились, искали, не нашли. Так гостья то в косынке и уехала. Ну опосля шляпку то, жованный комочек, садовник у балкона нашел, даже за шляпку не признал...

Господа то простыя, добрыя (наши). Сколько козы ихних носочков детских пережевали, нет конца краю. Господа все зверю прощают. Ну, однако же Мишку посадили на цепочку, три дня молока не давали, он и сообразил свою вину...

Раздувавшееся платьице девченки, привлекло внимание Мишки, его тянуло поиграть. Он широко разевал розовый рот и орал ей что то, вероятно приглашая подойти поближе. Девченка летала взад и вперед и, не заметив подошедшую старуху, чуть не сшибла ее с ног.

— Да ты чево это, скаженная! С утра на тебя спокою нет. Чего носишся?

— Ах, баушка Лукерья. Ну до того хорошо, ну право, небесно хорошо! Духовито, как от нашей барышни, знаешь с таких бутылочек, как она сделает фрррр, а оттуда дух, как от ландышей с балки, право слово, не вру!

— Уймись ты. Полно трепаться, небось господа встанут скоро. — Старуха поймала девченку за юбку.

— Не-е, спят, что ты, Лукерья, один барин в семь выйдет, так он не осердится. Вчера гости были. Барышни спать будут до десяти.

— Так чего ты песни играешь, коль господа спят? Разбудишь.

— Ну что ты, они по тую сторону дома, а я тут. Баушка Лукерья, до чего мне радостно, до чего хорошо!

— Ты чего пела то? Чевой то жалостное, страдание, что ль?

— Что ты, баушка Лукерья, страдание вовсе не так поется — протяжно с перепоем, вспоперек, повторное, а это нежное.

Варвара на конюховской поет... Она шьет и поет, а я, баушка, все перенимаю. Хорошо, что господа Ваську прогнали, — захлебываясь тараторила девченка, — уж наделал бы он дел! Варя шьет и поет, а Васька глазов с нее не спустит. Потом за плечо возьмет, — скажет — Варя, а у самого голос худой, у меня сердце задрожит и душа упадает.

— Ну, а Варя то что?

— А Варя с плеча руку скинет и запоет.

Девченка спрыгнула с калитки, — годи баушка, — и она присела к ней около плетня. Надела другую голубую туфлю на измазанную худенькую ноженку и запела.

Ты на той, а я на этой стороне,
Не придти тебе, мой миленький, ко мне.
Ты на том, а я на этом берегу,
Я с судьбой своей поспорю н пойду,

Мост широкий и высокий перейду,
Да боюсь тебя там скоро не найду.
Заблудиться темной ночью так легко,
А до дня мне не дождаться, далеко.

За мостом, путь крутым берегом пойдет,
Темным лесом по предгорью поведет,
За предгорьем, словно синяя коса,
То болотами расхлябаны леса.

На болоте сверху яркая трава,
Переливчата, ядрена мурава,
Да обманна, коль поверешь ей легко.
И боюсь, что до тебя мне далеко.

Ты на том, а я на этом берегу,
Каждый шаг твой ясно вижу, стерегу
И боюсь, коль через мост пройду в пути,
Никогда тебя мне больше не найти.

— Это она, баушка, дразнит Ваську то!

— Ох, и ладно поешь ты, девка! — утирала слезы на морщинистых щеках подолом сарафана, Лукерья. — Отчего ж так Варвара кручинится?

— Ой, баушка Лукерья, у нее большое горе. За рекой то у ней парень, вроде, как господский, она ему не пара, а она его любит, ну, а замуж ее взять он не может. Вот она из города сюда и приехала, поближе к нему. А Васька то, охальник такой, ей проходу не дает. А теперь его выгнали с усадьбы. Она через мост, да болота, боится ходить на ту сторону, к ба-

рину. Васька то может в брусничных кустах хоронится. Там брат, сколько не кричи, помощи не жди. Тропка узкая через болото. Когда Васька тут служил, бывало возьмут его господа кучером, ехать в гости, аль в город, на целый день, ну Варваре тут свобода, а теперь нет. Чисто слезами истекла Варвара...

Огромный куст бузины буйно разросся в углу двора. Уж не куст, а целое дерево шатром, зелено-красным от множества ягод.

На крыльцо вышла широкая, как тарантас, кухарка Степанида. Руки полны медной посудой. Пошла к столу под бузину, сорвала грозди ягод и давай тереть медно-красныя кастрюли.

— Анютка-а, где тебя носит, иди скорей, барышни тебя кличут. Неси от Варвары крахмальныя юбки. Сама небось еще не евши, а песни орешь! Ну и девка-ветер!

— Пойдем баушка Лукерья. Посиди на кухне, аль на крылечке, я тебя чайком попою. Только сбегаю булочку принесу, господскую, сладкую, к чайку...

Девченка вихрем понеслась, подбрасывая и ловя на ходу атласныя туфли.

Поплелась и старуха.

— Ну и девченка, ласковая душа. Спаси ее, Господи!

## МАЛЕНЬКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Тоненькая ниточка телефона связывала два города. В одном жила Тусенька с братом и бабушкой. В другом Сергей Иванович.

Имя Тусеньки было Екатерина, но маленькую ее звали Катюсенька, на что она сердилась —

— точно кошку, я не Катюсенька, а Тусенька... Так и стала Тусенька.

Нос курносый, глаза — голубые с синью, бровки тонкия, домиками, косы густыя, светлым золотом отливают. Зубки мелкие, как у белочки, острые, ножки быстрыя, плечики узкия. Вот и вся Тусенька...

А Сергей Иванович, это о-о-о-о!

Впрочем Тусенькина бабушка больше и лучше разскажет о нем, чем я. Он ей понятнее, а мне его издали плохо видно.

Тусенька с Сергеем Ивановичем виделись раньше часто. Он служил в том же городе, где училась Тусенька и после обедни всегда Петрусь, брат Тусеньки, приводил Сергея Ивановича на пирог с капустой. Бабушка была мастерица печь пироги, по старинке. Один бедняжка! — ну и приглашали.

— Приводи, не объест...

Дали Сергею Ивановичу повышение и оборвались частыя встречи. В город, куда переехал Сергей Иванович, были балы, концерты, спектакли и жизнь, как говорится, кипела ключем. Только от этого кипения накипь, по мнению бабушки, была какая то неинтересная. И когда приходил старенький учитель Семен Семенович, они горько сетовали, — толчем воду в ступе — из этого ни макового ни миндальнаго молока не добудешь.

Ну, да ведь старые люди ворчливы, на них не угодишь. Не смотря на воркотню, бабушке частенько приходилось одевать свой вицмундир, единственное черное бархатное платье, оставшееся после дочери. Что было открыто, убавила. Что закрыто, — прибавила и выезжала в нем кряхтя и охая с внучкой, радовалась на золотоголовую, танцевавшую с восторгом и упоением. И чего она нашла в этой парикмахерской кукле, Сергее Ивановиче, печалилась бабушка.

Она со всех сторон прикидывала на свой взгляд Сергея Ивановича. Усики, улыбочка. Ресницы длинныя пушистыя. Знает им цену и играет ими над пустыми, неумными глазами. А красиво! Взмахнет и опустит. Танцует ловко. Свободно держит Тусеньку, по старинному. Не мнет, не давит, легко лежит рука на тонкой талии. Танцует похоже, как бывало танцевали правоведы. И вспоминает, глядя на него, бабушка, свою молодость.

Откуда это в нем? Ведь он и не нюхал прежней жизни, — изумлялась бабушка, и ничего не могла возразить, когда Тусенька на упрек бабушки, почему она отказывает другим кавалерам и все наровит танцевать с Сергей Ивановичем, оправдывалась.

— Бабушка милая, да какой же это танец. Зажмут как в клещи, спину больно, грудью не дохнуть, руки вывернут кренделем и кто знает, что еще пожелает сделать из дамы, танцор. Я не штопор, я живой человек, люблю танец, музыку, мелодию, а эти знают только ритм, такт. Другие, точно помпу пожарную накачивают.

— Насмешница ты, Тусенька, — качала головой бабушка, но возразить было нечего. Сергей Иванович танцевал наряднее, изящнее других и его дама никогда не выглядела клоуном, марионеткой на шнурке.

Часто, что то близкое, очень знакомое было во всем обличии Сергея Ивановича, манере танцевать, входить, здороваться, отвечать дамам, и по долгу вглядывались усталые глаза, в этого, такого новаго, и все же близкаго памяти, человека...

Телефон. Несется вихрем Тусенька. Ноги у бабушки старенькия и телефон стоит у столика бабушки, а ответвление у Тусеньки.

— Алло!

— Здравствуйте, — радостно звенит в ответ Тусенька.

— Дайте ручку.

— Даю.

— Я целую каждый пальчик отдельно. Вот мизинчик, крохотный, розовый ноготок, остренький, ласковый... Можно поцеловать еще?

— Можно, только до запястья.

— Хорошо, только до запястья, ни на иоту дальше. Вы чувствуете как усы мои касаются мизинчика.

Лицо у Тусеньки счастливое. Бабушка изумленно слушает этот монолог.

— Вот тупица, — восклицает она.

— Тусенька я беру завиток ваших волос около ушка и тихонько целую.

— Вы не смеете этого делать, — волнуется Тусенька, топая ножкой вся розовая, смущенная.

— Хорошо, повинуюсь. Но вот у меня ваш носовой платочек. Я положу его под подушку, во сне увижу вас...

Бабушка нетерпеливо прерывает, — Тусенька, как тебе охота вести такие пустые разговоры. И всегда то он болтает глупости!

Петрусь вступается за друга и сестру.

— Да ведь обоим нет сорока лет. А вы, бабуся, чуть не вдвое старше этой комбинации. Небось на катке отнимали у поклонника ленточку, из косы. А однажды рванную перчатку...

— А ты откуда знаешь? изумилась бабушка

— Из вашего дневника.

— Ах ужасныя дети! Как ты смел читать мой дневник? Как ты смел открывать мою шкатулку.

— Не сердитесь бабушка. Мне очень было интересно, как вели себя наши предки, в наши годы.

— Гадкий, испорченный мальчишка, Боже, какия ужасныя дети, — старушка чуть не плакала от огорчения. — Читать чужие дневники!

Петрусь смиренно целовал ручку бабушки, смеясь и ласкаясь. Это ее выкормыш. Трех и пяти лет остались сиротки на ея руках.

— Ах, Петрусь, я очень жалею, что ты ввел Сергея Ивановича в наш дом. Он очень легкомысленный но, к сожалению, нравится Тусеньке. Он ей не пара.

— Не Аким же Акимыч, пара?

— Аким Акимыч чудесный человек.

— Ходячая энциклопедия, безапеляционно изрек Петрусь.

— Зачем так зло, мой дружок. Он очень ученный, развитой, добрый, честный.

— А зуб — со свистом. А у Сергей Ивановича все 32 целых и белые, как пена.

— Сергей Иванович сплошное легкомыслие...

Как ни как, а разговоры по ниточке между двумя городами были ежедневно. Были приезды и встречи.

— Пронеси Господи! шептала бабушка. Только бы не договорились до свадьбы.

Погожим утром ждали Петра с другом к пирогу. Выехали встречать на вокзал и вдруг объявление, — «все поезда отменяются, крушение товарного поезда около станции Z». Публика, уже выехавшая из обеих точек отправления, т.е. Бостона и Нью-Иорка, сбилась с двух сторон перед умолкшей станцией. Поезд за поездом выбрасывали толпы публики и, как развороченный муравейник, толпа искала способов передвижения. Как нибудь нужно было преодолеть пролет от места крушения, до того места, где ждали поезда.

Сергей Иванович с Петрусем застряли тоже. Петрусь куда то затерялся и Сергей Иванович в человеческом водовороте остался один. А Петрусь, увидя группу монахинь, печальной стайкой сбившихся около вещей, пошел помогать им, таскать багаж в автобус, по завету бабушки, — «слабому помоги, не оставь без помощи» и забыл о своем друге.

Сергей Иванович, потеряв Петруся, пошел искать телефонную будку. Звонок. Сергей Иванович ярко описал все происшествие Тусеньке, замеревшей от ужаса и успокоительно добавил, — живым или мертвым, а до вас я доберусь. — Слушает Тусенька мягкий баритон и шепчет бабушке, — Сергей Иванович приедет, тогда и будем есть пирог.

Многие имевшие свои машины, любезно спрашивали, может быть по пути с нами? мы едем по такому то направлению и подвозили пострадавших пассажиров.

Брюнетка, с пурпуровым бутоном вместо губ, любезно предложила Сергей Ивановичу место в автомобиле. Она ехала по пути, но не доезжая, миль 12-15, было ея поместье.

— Это ничего, успокоила она, — она его забросит на станцию, откуда идет поезд и он доберется до Тусеньки.

Он сел рядом. Она была хороший драйвер. Закурила папиросу, — пахнуло ему в лицо душистым дымком. Искоса часто посматривала на него черным глазом. Белые зубы в пурпурной рамке. Красиво! Подъехали к станции, он вышел, встал около автомобиля. Он долго благодарно целовал руку, пока рука не потянула его обратно в авто. Он сел на прежнее место и, автомобиль понес его в имение незнакомки.

Бабушка была права. Аким Акимыч серьезнее. Сергей Иванович полон легкомыслия. В городе к пирогу его не дождались.

## РОДНЫЯ ГНЕЗДА

Заводь спит, молчит река зеркальная,
Только там, где дремлют камыши,
Чья то песня слышится печальиая,
Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий,
Он с собой о прошлом говорит.
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит...

Так вспоминались ему стихи обрывками. Слово за словом подбирал он, когда то любимые и давно забытые, стихи.

Студентом он скандировал их красиво, думая насмешливо, — ведь и рак влюбленный старается понравиться даме сердца, всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Он особенно грациозно расправляет клешни, точно балерина юбочку, распускает мохнатую, как водоросли шерстку около груди и лапок, и танцует, танцует, каналья, менуэт...

И ему становилось стыдно при мысли о коварном обольстителе раке, и он смял конец стихотворения, увидев влажность синих глаз и почувствовав, что и сам он готов поддаться минуте. Что бы скрыть впечатление, он рассказал Надиньке о танцующем раке. Но она не улыбнулась и слезы, блестевшие на веках, не стерла, только тихо, с упреком промолвила — Зачем?

Да, зачем? — подумал он. Зачем, увлекаясь и увлекая, он разрушал сказки иронией над собой, над чувством? Делал каррикатуру и уходил опустошенный, недовольный собой.

Тогда у него была густая волнистая грива волос, белые крепкие зубы, всегда насмешливая улыбка и голубой околыш студенческой фуражки. А сейчас?

Сейчас он сидит на каменной скамейке в самом отдаленном от дома уголке сада, смотрит слезящимися от яркого солнца и старости, глазами и думает.

Я, как Лаврецкий сижу в родном парке, приехал в родной край, родной дом, от которого остались обуглившиеся, развалившиеся печи, и бурьян, окаймляющий контуры фундамента. 38 лет лежат гробовым камнем, все выжжено, испепелено, истреблено и забыто. И слава Богу, что не нашлось никого, кто пожелал бы применить мою усадьбу под фантастические колхозы, совхозы и проч. дребедень.

Он был счастлив, что представилась возможность присоединиться к экскурсии американцев, едущих за «железный занавес». Цель экскурсии была — осматривать скиты. Непо-

далеку от его имения был скит и он мечтал как нибудь пробраться в родные места и осуществил эту мечту.

Теперь он уже мистер Браун, у него изрядный живот, и подбородок съевшие его мускулы и богатырские мышцы. У него грусть и больное сердце. Больное сердце от ожирения, а грусть, — почему он отталкивал всегда чувство вызванное им тонко и умело (не фальшиво). Он искренне увлекся и сам, но видя ответ, — сейчас же гасил свое и ответное чувство иронией, издевательством, шуткой... Так он прожил жизнь холодно и одиноко.

На нем великолепный серый костюм, прочные и добротные ботинки, шляпа рядом на скамейке и большая лысина грядкой до лба. В кармане его американский паспорт и толстая пачка «травелерс» чеков. Но какая тоска в глазах!

Он добился всего в Америке, но не мог добиться забыть родную землю. Какая боль в сердце. Если бы прирости к этой скамейке, никуда не уйти и смотреть на эту реку и на эти прибрежные кусты и хоть на мгновение пережить прошлое, вернув те чувства.

Он слышит шаги. Старый, как сухой лист, бывший садовник, подошел.

— Пожалуйте, барин, экскурсия вернулась со скитов, сейчас едут дальше, вас спрашивают, кличут. Да я то знаю, где вас искать. Бывало с барышней Надеждой Николаевной без малого каждый вечер тут сиживали.

Глубоко вздохнув, Валерьян Петрович медленно поднялся и тяжелой поступью двинулся, вбирая в память каждый куст, тропинку. Какими дорогими казались они, будто с каждым шагом вперед отрывал их от себя, от сердца.

Загудел мотор, послышались голоса. Компания вернулась после осмотра полуразрушенного скита назад, там они увидели старого монаха, какими то судьбами сохранившегося в живых.

Речь мешалась английская, французская и, редко, шопотком, русская фраза. Ведь все они были Брауны, Уайты, Блеки, Стивенсы, но душа у них была русская и при первой возможности приехали они на поминки родных гнезд.

## УГЛОВОЕ КАФЭ

Это было очень славное кафэ. Без больших претензий, но благодаря ценам, выше на-много нормальных, публика ходила туда отборная. За столиками, если лакеи и девицы получали на чай менее 40 сентов, то делали презрительную гримасу и на следующий раз эти клиенты обслуживались, как клиенты «секонд хенд».

Меню было всегда одно и то же, крохотный «гамбургер», размером в старый русский медный пятак, к нему, по французски поджареный картофель и лист салата, разрезанный пополам с ломтем томата, или целый. Вафли с сиропом и крохотный кусочек масла. Миниатюрный кусочек рост-бифа. Яичница с ветчиной и в последнее время появилось добавление, — омлет с куриными печенками. Неизменный кофе-кэк и двух, трех сортов «пай» с яблоками, с вишнями, с творогом. Меню не ахти какое, что и говорить!

Но в этом маленьком кафэ был какой то неуловимый дух уюта, семьи, дома. Был Ральф, долговязый, ласковый, услужливый, красневший при малейшей шутке. Была крысенок, девченка на вид, но уже мать четырех детей, как уверяла она. Деловитая, шмыгающая ловко, между крупных дородных девиц и лакеев, лавируя с подносом в руках.

Был управляющий, родом с острова Кубы, — Педро — красавец, здоровенный, мускулистый парень, с белыми, как сахар зубами, черноглазый.

Был и другой управляющий, хмурый, нелюдимый, а улыбнется и все лицо станет добрым. Был французик лакей, ловкий, гибкий, как хлыст, все видящий и все понимающий.

Кафэ было угловое и уже с утра набито, как огурец. Все удивлялись почему народ прет в это кафэ? Ни удобного места, ни разнообразия в меню, а народ валит валом. Рядом огромные, заваленные разнообразными блюдами, кафэ, пустуют.

Еще была в кафэ кассирша — Тина, говорит итальянка. Возможно. У нее была чарующая улыбка. Перестала улыбаться — ей лет за пятьдесят, — улыбнулась, — очарование не дашь и тридцати.

В Тину влюблены все. И Ральф, и оба управляющих, и французик, и все остальные служащие, — словом, все, все. И все клиенты. И она улыбалась, улыбалась с пяти часов дня до двух часов ночи. Может быть именно это и называют профессиональной улыбкой, — не знаю, но улыбка эта была изумительна.

Она чаровала, она увлекала, она зажигала, она обещала...

Итак, с восьми утра кафэ жужжало как улей и было полно дам с детьми. Кончался утренний завтрак. В одиннадцать с половиной часов в кафэ вливался новый поток публики.

И так до пяти. А в пять появлялась Тина.

Педро, как пылкий южанин, решил даже бросить жену и двух детей, чтобы жениться на Тине. Сумрачный управляющий перестал улыбаться даже изредка, ревниво следя за каждым, кто приближался к кассе. Женская прислуга, обиженная невниманием Ральфа, французика и прочей мужской половины, час-

то менялась. И только крысенок моталась под руками, шмыгая с переполненными подносами.

Тина на своем посту величественно возседала и улыбалась.

Назревала драма. Ральф ушел, не в силах переносить муки не разделенной любви. Неулыбчатый управляющий отослал с глаз долой девицу, злобно следящую за ним, и имевшую на то права. Слово «любовь» грозно повисло в воздухе...

Однажды в кафэ вошел художник. В ожидании заказанного, от нечего делать он взял салфетку и стал делать наброски. Две три виньетки и вдруг взор его упал на кассиршу, — он нарисовал ее, с ея чарующей всепобеждающей улыбкой. Пригляделся, где то, что то подчеркнул в рисунке. Усмехнулся. Еще посмотрел на Тину, — сказал, — Ага! — и радостно, словно поймал москита, еще сделал несколько штрихов.

Поел, расплатился и ушел. Горничная, довольная, взяла оставленный им полтинник на чай и, увидев салфетку с рисунком, грохнула поднос с посудой на пол, и чуть не закричала «Тина». Французик, бывший неподалеку, подбежал, чтобы помочь собрать осколки, увидел рисунок, схватил и стал рассматривать. Подошли другие и рисунок пошел по рукам.

— Тина, да это она. — Да это она, но глаза ее, обычно ласково прищуренные, сейчас на портрете совсем иные и все лицо — лицо медузы, — злое и мстительное.. Что то хищное цепкое было в лице и руках Тины, отсчитывающих кредитки клиенту.

Высокая блондинка сказала вызывающе:

— Покажите Педро, может быть он тогда еще подумает, бросать ли ему жену и детей для этой ведьмы. Крысенок хотела ухватить и порвать рисунок, — но не успела. Педро подошел, взял рисунок, посмотрел и качнувшись, побелевшими губами сказал, — Тина! — и быстро спустился по лестнице вниз к телефону...

На другой день кассирша не пришла. Не пришла больше никогда.

Это очень славное кафэ и я там часто бываю.

## СНЕГ... СНЕГ... СНЕГ...

«Снеги белые пушистые,
Призакрыли все поля, —
Одного вы не закрыли
Горя лютого моего».

(Старинная русская песня)

Все покрыто снегом. Сад, деревья царственно прекрасныя в белой парче. Куртины, цветы, зацвевшия снова белыми астрами. Красота!

Дороги, как каток, и несчастные автомобилисты с цепями, черепахой движутся, как жалкая карикатура, противная природе.

То ли дело саночки-лубяночки... Скользнули бы по снежку, пофыркала бы радостно лошадка, разбрасывая комья пушистого снега и, натянув вожжи, — руки в красных шерстяных варежках, — восторженно любовался бы природой.

Осыпало бы тебя снежком с задетых невзначай веток, — не нужно, не отводя глаз от дороги, вертеть колесо, смотреть в зеркало, не наскакивает ли кто-нибудь сзади, не выскакивает ли сбоку, — правда, все поломки застрахованы, — но где уж тут до восторгов природой.

Эх, Сивка Бурка, вещая Каурка, лошадушка верная. Конь мой, верный друг! Не буксовал ты в бури, метели, не надо было следить за каждым шагом. Умный, чуткий и к дороге, и к зверю, вез ты домой.

А в буран поворачивай санки и ложись рядом с конем, — тепло у лошадиного бока. Пригрело солнце и снова в путь-дорогу.

А забуксовал, засел в снегу кар и пропадай, если нет вблизи жилья.

Вспомнишь наши зимния дороженьки. Наши дормезы, где в войлочных стенах были чайники, кофейники, спиртовыя лампочки, синия чашки с золотом. Гуси, утки, индейки, заготовленное на всякий случай.

А из окон дормеза, который качаясь, как на волнах, по снежным рытвинам, сугробам и заносам, — никогда не падал из-за широких отводов, — картины одна другой краше.

Озеро, а за ним роща, кучер кнутом указывает. «Вот тут малины бывает летом, в век не оберешь. Девки ходят гуртом, пудами собирают, носят в город продавать, ну и сами наедятся вдосталь на целый год». Ямщик был вологодский и говорил с оттяжечкой.

— А вот там, подальше, там ежевики цельное море, кусты, — обдерешься, жестокие. Ну, ежевика! Ягода отборная... — и несется четверка лошадей, цугом, по алмазам, бриллиантам, особливо при лунном свете.

Эх, ты край, ты мой родимый! Кони верные, неизменные. Ямщики ласковые, доходчивые до сердца. Живы ли вы там, в серебряном краю? Схоронили ли вы под пушистыми снегами ваше русское сердце? Или во всем перемена, все стало другим?

Не верю! Все прежнее. Сгинет вся нечисть, уйдет муть и засветят для нас дороги при лунном сиянии. И снова пойдем в леса родные за малиной, ежевикой ягодой.

Уже к вечеру небо засинело, как прозрачный хрустальный леденец.

В 3 с половиной утра человек вышел из подъезда, закрыв за собой дверь, она плотно захлопнулась, пахнув последний раз теплом. И он вышел в палисадник, весь заснеженный.

Придется идтит пешком мили две. Не видно ни такси, ни автобуса, пустынно... Ждать? Кто знает сколько веремени...

Снег мягкими пушистыми хлопьями щекотал нос, таял на ресницах, забирался за воротник, струйками заползая за шиворот. Стоять холодно долго, и человек бодро зашагал. Он быстро согрелся на ходу, а снег все мерно падал тихо, тихо, с чуть слышным шелестом. Пакет, тяжелый в начале, теперь стал невесомым.

Человек прибавил шагу и вдруг забыв, что ему далеко за 50, заорал, — снег, снег, русский снег, — и пошел петлять, кружиться, как заяц, удирающий от охотников. Это был какой-то неуклюжий танец скифа. Уже промокли ботинки, уже снег покрыл толстым слоем плечи, как эполеты, превращая человека в снежную бабу, а человек все продолжал свой вакхический танец, опьяненный «русским» снегом и не замечая, дошел до вокзала, крутясь в этой пляске.

Он вошел в вагон и мертвецки заснул, видя сон, что он «в российских полях заснеженных»...

Кондуктор тронул за плечо. Человек очнулся и вылез в серое мутное нью-иоркское утро.

## РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ

— Ало, ало!

— У телефона номер 4711.

— Простите, ради Бога. Неверный номер. Простите, пожалуйста.

— Пожалуйста, это уж не так важно.

— У вас чудесный голос.

— А вы, что, ищете оперную певицу?

— Почему оперную, не-е-ет.

— Опереточную? Не подхожу.

— Почему опереточную? Совсем нет. Я ищу... (заминается).

— Певицу для балета?

— С нами крестная сила! Ну, какой же нужен голос для балета?

— А по-моему это иногда очень важно, — вдохновлять танцующих соответствующими руладами.

— Послушайте, вы очень интересный человек. Мне хотелось бы видеть вас.

— Пожалуйста, смотрите, я не спешу, хотя молоко на плите, но Бог с ним! Чтобы доставить радость ближнему, жертвую молоком! Смотрите...

— Да я же ничего не вижу, только слышу. А я хочу видеть, видеть вас.

— Ну что ж, обождем... Может быть, кто-нибудь додумается при каждом телефонном звонке чтобы выскакивала и физиономия зовущего, а затем перед зовущим выскакивала физиономия отвечающего, как только он возьмет трубку в руки. Обождем.

— Я плохо слышу, что у вас там за инфернальный шум?

— А это я, не выпуская из рук трубку, стараюсь ногой придвинуть кресло, чтобы удобнее усесться в ожидании этого нового изобретения...

— Ха-ха-ха-ха. Нет, черт возьми. Действительно, вы забавны!

— Ну, с этим ничего не поделаешь, хотя я и пыталась бороться, так как кроме неприятностей это свойство, быть забавной, мне ничего не принесло..

— Умоляю вас, давайте встретимся.

— Ранде-ву по телефону, ведь, это же нечто вроде тоскующих душ, ищущих знакомства с целью брака по газетам.

— Ну-у, ничего подобного! Ну какой может быть брак по газетным объявлениям. Ложь, сплошная ложь!

— Ха-ха-ха. Ага, значит вы уже испытали, нажглись?

— Ну, конечно! А вы, умница. Вы меня страшно заинтриговали. Вы меня слышите?

— Да. Но я слышу и треск горящей кастрюльки с молоком и запах пригорелого хлеба.

— Вы одни? Ну, говорите скорей ваш адрес, — я прибегу сейчас к вам на помощь тушить пожар.

— (Она хохочет). Мерси. Вы мне доставили уже не мало радостей за это утро.

— Не сердитесь, умоляю вас. Я прижимаю руку к сердцу и пою: «Исправлю все, все смертью искуплю». Ало, ало, отчего вы не отвечаете?

**9 часов вечера.**

— Ало, ало. (нежно).

— У телефона номер 4711.

— Ну, слава Богу. Опять я слышу ваш чудесный голос. Почему вы положили трубку утром?

— А вы думали, что я готова сжечь весь дом, слушая ваши комплименты? И при том же я боюсь трагических моментов. Но как же вы, искупивший все с м е р т ь ю, добрались опять до моего телефона?

— При помощи очаровательной телефонной барышни. И не только до телефона, но почти до ваших дверей. Умоляю, за все мои муки, осчастливьте, выйдите на минутку, только на минутку, я здесь на углу в дрогери.

Минутная пауза

— Хорошо. Но прежде спойте серенаду «Я здесь, Инезилья, стою под окном».

Баритон с приятной барской хрипотцой запел:

Я здесь Инезилья стою под окном,
объята Севилья и мраком и сном.
(Пощелкивает пальцами, как кастаньетами).
Исполнен отвагой, окутан плащем,
С гитарой и шпагой, я здесь под окном.
Шелковыя петли к окошку привесь,
Что медлишь? Уж нет ли соперника здесь?

— Есть соперник, — послышался третий голос. — Пожалуйста, отпустите телефон номер 4711. Я должен говорить, я тщетно добиваюсь этого телефона весь вечер, а вы всю Гренаду растревожили вашими серенадами. Вам-то, окутанному плащем, — хорошо, а я вот босыми ногами из ванны пришлепал. Клавдия Петровна, матушка, наконец-то дозвонился! Все утро прозвонил сегодня к вам и все время ваш телефон был занят. Сейчас беру ванну, слышу звонит телефон, подумал, верно вы, сердце сердцу весть подает. Ну, пока вылезал из ванны, пока бежал, телефон и замолчал. Ну, думаю, верно вы и давай вам звонить. Слышу поет, а кто, что, понять не могу.

— Клавдия Петровна, дорогая, ведь это же бесчинство! Подумайте, как осмеливается этот индивидуум говорить с вами в таком виде?! Он пришлепал босыми ногами к телефону и осмеливается говорить с женщиной тонкой, изящной, сотканной из эфира и крыльев бабочки.

Номер 4711 хохочет заливчато.

— Оставьте в покое Клавдию Петровну, это не деликатно вмешиваться в чужие разговоры.

— Позвольте, уж если кто вмешался, так это вы. Вы прервали мою серенаду и кто знает, какую блаженную перспективу. Во всяком случае мне было обещано свидание после серенады. Клавдия Петровна, обращаюсь к вашему человеколюбию. Пожалейте человека, пришлепавшего босыми ногами из ванны, с позволения сказать, в чем мать родила и замерзающего у телефона. Отправьте обратно его в ванну, а я спою еще серенаду, — «Гаснут дальней Альпухары, золотистые края». Ало, ало...

Номер 4711 молчит.

— Подите к черту с вашими советами, я не желаю вашего сострадания. Ап-чхи, чхи к-х-кх-кх-апч-хи. (раздраженно).

— Ну вот видите (укоризненно) не далеко и до пневмонии легких. Клавдия Петровна, ну скажите словечко. Разрешите наш спор, — желаете ли вы слушать кашель и чихание этого голого субъекта или «Гаснут дальней Альпухары»?

— Убирайтесь вы с вашей Альпухарой. Клавдии Петровны наверно давно и след простыл. Уехала.

— (Взволнованно) Куда уехала? Почему? А мы?

— А мы, в дураках. Проспорили. Я ее хорошо знаю... Как 10 часов вечера, выпьет стакан молока и уезжает танцевать.

— Танцевать? С кем? Куда?

— Должно быть с Виктор Апполоновичем. Ап-чхи чхи, кхе, кхе. А куда, — либко к Старку, либо в Леисинктон, либо в Астер-Хауз. Кто ее знает, куда! Вот сейчас оденусь и поеду ее искать.

— Возьмите меня с собой, будем искать вместе.

— Черта-с два. Ищите сами.

— Да я ее в лицо не знаю, как же я ее найду?

— Ха-ха-ха-ха (довольно расхохотался собеседник). А я то дурак, ревновал, ап-чхи, ап-чхи. Ну, ладно, трубадур! Приезжайте, Риверсайд Драйв 83. Эх мы! благодушный народ. Сначала обругаем, потом пожалеем...

— Мерси. Несусь к вам на рысях. Страдать, так уж вместе! (напевая) Гайда тройка, снег пушистый.

## МАСЛЕНИЦА

Река у нас широкая, глубокая. Впадает она в озеро Ильмень. Зимой на ней чудесный каток. Обсажен елками густо. И освещен он фонариками всех цветов. Два раза в неделю играет музыка.

На праздники приезжают из Москвы и Петербурга студенты и наша купеческая молодежь им мучительно завидует. Но игры затевают на катке вместе — купеческая молодежь и «аристократы», как называют их местные жители. К «аристократам» причисляют они студентов, офицеров, судейских и вообще должностных лиц.

К самым любимым играм на катке принадлежала «война». Выбирались две королевы, — одна купеческая, — другая «аристократическая».

У купцов красивая, высокая, статная лет 27-ми, королева.

У «аристократов» королева была почти девочка — под-

росток. Но она так вальсировала, так танцевала польку мазурку на коньках, что все восхищенно преклонялись перед ней.

В сущности роль королевы во время войны была не легкая. Она должна была сидеть в кресле впереди своего войска и ее мчали на встречу Королеве противника, и первыми, по статуту, должны были столкнуться кресла Королев.

«Аристократы» щадили свою королеву и великодушно направляли ея кресло в ельник, где в сугробах снега кресло и застревало.

Сражение было шуточное, снег комьями летел с обеих сторон, но иногда попадало и серьезно сражавшимся. А королевы уже только наблюдали за верноподданными.

Под музыку, в лунныя ночи, это была феерия, которой не забыть до конца дней. Мороз пощипывал нос и пылающия щеки и уши. Самое чудесное ощущение подняться на носок, на мгновение врезаться им в лед, броском выброситься вперед, — в полете, словно птица, — такой восторг!

Маленькая королева была славный подросток, только не следовало ее принимать в серьез. Зеленая молодежь не любила, когда мешались к ним люди пожилые. Примерно 26-27 лет и старше. Ужасно неприятный элемент! Всегда с драмами, в серьез, и на долго. Ужасно они портили жизнь молодежи, особливо маленькой королеве.

Ночь зимой наступает рано... И когда снег идет целый день, каток засыпан, невозможно очистить. А любители спорта валят на каток с обоих сторон, берегом. Лестница засыпана снегом. Валят целиком, подобрав полы шуб под себя, летят как на салазках, вниз. На катке прорыты траншеи, вроде лабиринта (Лена, где ты? по голосу как будто бы рядом. «Здесь»), но чтоб встретиться нужно сделать много зигзагов по лабиринту. Снеговая стена выше роста человека, нарытая снегом от траншеи.

Молодежь от души веселилась, а «старики» пользовались лабиринтом. Завезут свою жертву и давай допекать жалкими словами на тему «вы мной играете, я вижу, противна вам любовь моя» и т.д. с разными варьяциями. И так они мешали, своими серьезными излияниями, жить молодежи.

И вот однажды случилось. — Зима проходила, каток закрыли, река того и смотри тронется...

По откосу, на масленице всегда гулянье. Бульвар полон народом. А около бульвара тройки, пары, одиночки. То промчатся в ковровых санях, то красуются шагом, хвастая породистыми конями.

Несется тройка. Ах хороша!

Идет маленькая королева с компанией подруг и молодежи.

На всем скаку остановил тройку, — как только не разорвал рты лошадям, «старик» лет 26-ти. Пенснэ дымчатое. Фуражка лихо на бок. Зеленые канты, уставился стеклами в глаза королеве. Та смутилась, испугалась...

— Прошу, сделайте милость, проедемте со мною.

Хотела она сказать — мама не велела.— Да разве королева, имея за плечами 15 лет, может признаться, что мама не велела? Поэтому гордо и самостоятельно прозвучало —

— Мерси, я не люблю кататься на масленице. —

— А, коли так, ну и так! Ладно обиженно кинул он. И зеленый околыш помчался по склону к реке. Водовозы здесь бочками возили воду и склон был весь обледенелый. Тройка мчалась, скользя, как бешеная. Народ закричал:

— Сумасшедший, держите его. —

Но зеленый околыш был уже на середине реки. Лед крякнул и раздался.

Человек поднялся во весь рост и размахивал концами вожжей над лошадьми. Кони поочередно пропадали из глаз, то вновь появляясь, взлетая на льдину. Порой скрывалась даже дуга коренника.

Ужас обуял людей.

— Багры, багры, тащите багры, — кричали надрываясь зрители. Но зеленый околыш уже выскочил на берег и пустил лошадей мелкой рысью.

— Да и так уж прогрелись, — буркнул насмешливо мещанин, в нарядной поддевке. — Морду бы ему набить за коней. Ишь бахвалится! —

Маленькая королева горько плакала. Уж лучше бы я поехала, если бы знала, что он такой сумасшедший, так лошадей измучил!

— Наверное все в кровь об лед порезались, — выговаривал мещанин. — А вам то он, кто, барышня, будет?

— Никто, — просто знакомый, — немного подумав, сказала она.

— Так чего так убиваетесь?

— Лошадей жалко.

Андрюша Кильвейн длиный, длиный кадет, держал дрожащую руку девочки успокаивая, а у самого сжимало горло и от всей души, он молча, поддержал желание мещанина в поддевке. И лошадей жалко, и маленькую королеву, и ея горькия слезы.

— Как бы поехали с ним, то вас бы утопил наверное, — пробурчал мещанин.

— Ну, все таки отчаянный человек! — сказал восхищенно Андрюша.

— Это вам так, военному, кажется. А по нашему, по простому, так просто шалый дурак!

Девочка с отвращением посмотрела на мещанина и благодарно на Андрюшу, хотя вообще, немножко презирала его за сапоги. Высокие, внизу начищенные до зеркала, а дальше мохнатые, рыжие. Ноги длинные, положит одна на другую, а голенищи и торчат из под штанов.

А все же Андрюша славный, — решила она.

## КРИК

Захворала моя большая приятельница, шведка. На этот раз она как-то особенно нервничала, находила самыя невероятные симптомы, самых ужасных болезней и оставить ее одну в таком удрученном состоянии мне было стыдно.

Решила, — посижу, пока не уснет. Сначала читала ей по памяти Апухтина, Фофанова. Потушив свет, думала усыпить монотонным чтением. Одиннадцать, половина двенадцатого. Тоскливо поглядываю я на часы в кухне. Возвращаюсь, — она вздохнет, не спит.

— Может быть лучше, если вы останетесь у меня, — говорит она нерешительно. — Я меньше вас, я лягу на кушетке. (Кушетка узкая, неудобная).

— Что вы, голубушка, — притворно возмущаюсь я, видя, что она уже вылезает из-под одеяла. — Разве можно ложиться в постель, где лежал больной с температурой, — я знаю, что лишь этот довод удержит ее от стремления уложить меня в удобную постель, а сама она ляжет на крохотной кушетке. «Козютке» (козетка), как называю я.

— Да, да, конечно, — смущенно спохватывается она. — Как — я глупа; но как мне не хочется выпускать вас.

Спите, спите и не думайте ни о чем. Ни обо мне, ни о козютке. Я не уйду.

Она уснула. Половина второго. Хорошо, если найду, выйдя, такси. А если ждать где-нибудь автобуса. В метро никогда в жизни не ездила. Такси. Еще завезет куда-нибудь. До меня, — не ближний свет. Останусь, — решила я, после всех печальных соображений.

Глухая ночь. Нет, — «когда все доброе ложится, то все недоброе встает»...

Идет женщина. На ней короткое платье, все в блестках. На шнурке собаченка. Допустим, с вечера, с бала. Но при чем

собаченка? Собаченка светлая, маленькая... Женщина прошла раз и скрылась за углом. Вот она возвращается. Опять мерит улицу, стуча каблуками. Затихло... Вдали шум, точнее глухой гул доносился от сердцевины города... Женщина снова появилась. Яснее она была мне видна, проходя под фонарем или под яркими вывесками бесчисленных баров. Женщина высокая, сильная, здоровая. Собаченка казалась крысенком перед ней. Платье расшитое гроздьями пальеток, горело. Вся в черном.

Странная фигура! Я стояла перед открытым окном. Редкие прохожие шли, не обращая внимания на женщину.

Однако надо устраиваться на ночлег. Больная уснула, сладко похрапывая.

Два огромных окна настежь открыты, но в глубине комнаты душно... Огромное удобное кресло придвинула к окну. Накрыла простыней и села на широкую разляпую ручку кресла. Перед тем, как лечь, посижу еще и подышу воздухом. Движение по улице увеличилось. Слышны шаги, чаще и чаще.

Квартира моей приятельницы в первом этаже. Под ней три ступеньки вниз, прачешная — «лондри». Два китайца, не слышные днем, на ночь уходят. Одно огромное окно ея комнаты выходит на лестницу, с которой совершенно свободно можно влезть в комнату, чуть выпихнув сетку, которую легко выталкивают даже коты.

Мое кресло у другого окна, прямо на улицу. Я выглянула из окна. Небо было серо, тоскливо, ни одной звезды. Словно стеклянная крыша парижского вокзала, покрытая копотью, пылью и прибитая, а не промытая дождем.

Господи! Таким мы видим здесь Твое небо!

И вспомнила я, как выезжала 14 декабря из Нью-Хевена в спокойном удобном Паккаре, покачиваясь, как в колыбели... В Нью-Джерси попали в полосу дождя. В первом корте, где мы остановились из-за страшного ливня, размыло даже стреху, угол крыши в новом здании, и ночью, чувствуя струи холодной воды, подобравшиеся под одеяло, я перебралась в соседнюю постель, где проспала как в Ноевом Ковчеге спокойно. На утро выглянуло яркое солнце и мы сделали 400 миль на пути к Флориде.

Опять корт. На этот раз в сосновом лесу. Тут я неуемно гуляла по хвое и задремала в качалке в саду. Проснулась ночью, почувствовав живое существо. Приоткрыла глаза — волк, и сердце застучало, — крикну, выйдут из дома, — ведь две, три сажени от дома. И корт полон людьми.

Открыла совсем глаза, при луне ясно видно, — огромный лохматый пес. Ну, псы и кошки всего мира, — мои друзья.

Смело протянула я руку. Он стоял и смотрел на меня спокойно, вертя хвостом. Не подошел сразу, а обошел кругом кресла, будто удостоверяясь, что нет никакого подвоха. Видно чаще получал пинки и затычины от протянутой руки, чем ласку. Обойдя, подошел вплотную и я положила руку на мохнатую спину. Эге, да это тот самый пес, который перед обедом без остановки носился по какой-то, ему одному ведомой спирали, проносясь ураганом мимо меня.

Но вот промчался совсем близко, нюхая каждый куст. Голодный, — решила я и за ужином забрала с тарелки зятя и дочки все, что осталось.

Была пышная добыча. Зять обрезает антрекот пальца на три кругом. Жир и мясо около жира. Остатки цыпленка от дочери пополнили меню и моя рыба. Всю эту богатую добычу я разнесла по кустам в разныя места.

Вот, может быть покушав, пес и пришел охранять мой покой. Дальше корты, выбранные дочкой, пошли один красивее другого.

А ночи! Истинно, «ночи безумныя, ночи бессонныя»... Я укачивалась и засыпала днем в автомобиле. А ночи, если были теплыя, сидела на балконе. Я бы гуляла, да во многих кортах нет места для прогулок. Только под окнами корта, по галлерейке. Это скучно и неудобно для жильцов, окна которых выходят на галлерейку. Середина корта чаще занята огромной клумбой цветов, а весь корт посыпан гравием. Он лезет в туфли. И я сидела на балконе, встречая восход солнца.

Мы проехали Кароляйн с ея безобразными висящими, как клочья сбившейся шерсти и паутины, ветвями. Этим негры набивают матрасы, сказал мне сторож корта. У меня отвращение к этой висящей мути. Я поразилась, когда мне сказали, что остров, на котором сплошь растут эти чудовищныя деревья, заселен богатейшими людьми. Вероятно это правда, так как отель, где мы завтракали и который мы осматривали, был великолепен и подтверждал, что это остров миллионеров.

Отель, как государство в государстве, — это был, словно, маленький городок, заселенный штатом этого отеля.

Наконец, мы в Чарлстоне. Чарлстон нас встретил страшным холодом. Пронзительный ветер заставил нас одеть шубы и теплыя галоши, чего мы не делали всю дорогу. Я пришла в ужас от этого холода. Зачем же было уезжать из Нью-Йорка?..

Последний корт перед Джаксонвиллем. Уже давно мы сняли шубы и калоши, пронзительный, прохватывающий до костей ветер остался в Чарлстоне и мы едем в одних платьях. Последний корт.

Я никогда в жизни не забуду этой ночи. Мои ушли спать часов в 9-10. Я осталась в комнате, что-то доставая, убирая. Тепло, в открытыя окна и дверь вплывает волна каких-то особенных тонких духов. Я устала, прилегла на кровать у окна и увидела чудесное темно-синее небо. Небо, как шатер, и пламенныя огромныя, невиданныя до сих пор, никогда, звезды. Оне были совсем близко и все небо, весь шатер был так низко над моим домиком, казалось, выпрямись я, протяни руку и бери любую звезду на выбор.

Эта тишина, благоговейная, молитвенная тишина, когда душа открывается и идет навстречу к Богу. К чистому, прекрасному, и слезы радости, что ты видишь, чувствуешь это, подступают к горлу. Молитву ты не выговариваешь, она поет в тебе, во всем твоем существе...

Дикий крик прорезал тишину улицы. Оборвал мысли и заставил задрожать тело. Бьют! Кого! Неужели эту женщину в черном? и почему-то дикая мысль — а собаченка? Наверно раздавили в суматохе. Крик разрезал тишину и замолк...

То ли от контраста мыслей и действительности, но тело не переставало дрожать, мысль металась, что делать, как помочь... Выйти, что могу сделать я? В руках никакой силы. Позвать, кого? Полицию, по телефону, дать адрес моей больной приятельницы. Но жертву уже наверно увезут, придет полиция сюда и что скажу я? Мечтала о звездах. Ведь наверное те, кто ближе к месту происшествия, мужчины, шаги которых я слышу, могли бы помочь?

Как это далеко все от моих звезд. Джунгли, жутче косматых деревьев. Может быть, женщина в блестках лежит с перерезанным горлом или бьется в предсмертных судорогах? Дом наш, второй от угла и все, что делается за углом на широкой улице, из окна не видно. Гнусная дрожь бьет тело, мутит совесть. Надо пойти помочь. Гнусное «страшно» не пускает. Попробую оторваться от мысли о женщине, но вижу, — собаченка на шнурке, привязана к женщине, конец захвачен мертвой рукой. Пробую опять отогнать мысли, направить на путешествия, в Сент-Агустин, но мысль упорно возвращается к грязному проплеванному тротуару, к женщине в черном и собаченке.

Утром прочла заметку, — «на 14-й улице, ножом в горло была убита»... 2-3 строки петита.

Страшно!

## ЗАБЫТЫЯ СЛОВА

Наша улица травою заросла,
Голубыми васильками зацвела.
Васильками зацвела, да вот беда, —
Губит нежные цветочки лебеда.

А за то у наших окон и ворот,
Белоснежная черемуха цветет.
Ах, цветет она, цветет...

— Ты чего бабка тут разселась?

Старушка подняла голову, обмотанную бывшим платком и на вопрошающего глянули добрые ласковые глаза в лучах безконечных морщинок, сухое усталое лицо, запавшие сухие губы, без улыбки.

— А вот, батюшка, слушаю, как поет кто то в доме... Так бывало Варенька моя пела, пташечка моя ненаглядная... — Дом то этот наш был, так бывало летом, как приедет из Петербурга на каникулы, каждый то вечер, как все затихнет, сядет вот у этого окошечка к роялю и запоет. И столько песен знала, что кажется со всего мира собрала она их. Вот и эта песня была ее любимая. Ох, улетела моя пташечка, а я вот осталась, хотела дом этот сохранить, да дожить до смерти, чтобы рядом с внучком, — Игорек мой любимый, — в могилку лечь, на Монастырском нашем кладбище.

Человек слушал не прерывая, опираясь согнутой в колене ногой, на ту же грудку кирпичей, вывалившихся из фундамента, на которых сидела старушка. Из дыры дуло сырым воздухом, подвала. При слове Петербург, человек дернулся, но ничего не сказал.

— Коли мешаю тебе, батюшка, то я уйду.

— А куда ж ты уйдешь?

— Да никуда. Никого нет куда пойти. Разве на могилку к внучку. Пашка выгнала.

— А кто эта Пашка?

— Прачка, бывшая прачка. Хорошая была прачка, батист, полотно, кружева, тюль чудесно стирала. Только уж очень характер плохой, прямо жрет человека, и дочку сожрала, — идиоткой сделала. Душа у нее больная, очень жалко ее, золотая работница. А вот жизнь ее незадалась.

— За что же она вас выгнала? — он незаметно для себя сказал ей «Вы».

— Выгнала то? и подумав, — за конфеты.

— Конфеты, — изумился он. Какие конфеты?!

— А вот в бумажках, как Царская карамель, с начинкой, малиной или абрикосом, как бывало у нас прежде Блигкен и Робинсон делали такую карамель и Жорж Борман. А лучше

всего в Петербурге, у Елисеева, продавали карамель. Снизу фунтик узкий, а кверху все шире и завязан золотым шнурочком, и бонбоньерка хорошенькая.

Старушка изящно показала ручкой фасон коробочки. Он даже головой потряс. Не сон ли эта старуха?! И как безстрашно она говорит. И он помнит эти слова, но только он старался забыть их. И это ему удавалось. И вот оне опять эти слова. То ли ничего не боится, то ли верит мне.

— Откуда же вы взяли конфеты?

— А Варенька прислала из Парижа. В посылке были еще лакированные туфли, это я ее просила прислать для племянницы, две девочки сиротки, у сестры в имении. Конечно имение отнято, отец и мать убиты, а у девочки, у старшей все лицо изуродовано. Ей 17 лет, вот ей в утешение туфли и послала. А другую то, Оличку, 14 лет ей. Учитель тамошний, Слава Богу, замуж взял, так избавил от мучений. Все же муж защита.

Чего я слушаю?! Истинно навождение!

— И еще прислала шелковый платок. Я его Пашке отдала. Но это ненастытная утроба, ей все мало. Отдала и круглое печенье, как бывало у нас раньше абрикосовское. А конфеты то хотела отдать доктору, старичку с женой. Прежде он у нас рядом в доме жил. Даром лечил.

— Почему же вы сейчас к нему не пойдете?

— Да он, батюшка, сам в собачей будке живет. Вот Прасковья то и разгневалась, как это доктору, а не ей конфеты, — к нему и убирайся. Выпихнула за дверь, вот и все.

Дом Пашки Горяевой был вросшим в землю, с полуразвалившимся крыльцом и сенями. Перед домом на улицу был общественный колодец, но вода плохая и водовозы привозили бочками с реки. Речная вода была чистая, сладкая, здоровая. Из колодца по утрам подымался седой туман. Пашка и дочка Нюрочка, забитая полуидиотка были желтые одутловатые, как налитые водой. Пальцы скрючены от ледяной воды. Полоскать зимой в проруби белье, — не шутка. А водовозов больше не стало. Забитая в углу старушка не смела пикнуть и отводила глаза от злых глаз двух женщин, почему то считавших старушку то же виновницей 17-го года и тяжелой доли, выпавшей им...

— Не дохнешь, карга. Господа! Не жилось вам, как людям, вам еще чего то надо было. Вот и накаркали.

Иногда разгневанная мегера всю ночь бушевала, размахивая утюгом или кочергой, истерично измываясь над старухой и идиоткой.

— А кто же вас выгнал из вашего дома?

— А Люба, дочка Соломона Косыря.

— Почему?

— Почему сильный давит слабого. Почему волк режет ягненка. Я жила одна, звала сюда Вареньку, — голубчик, ты мой, подняла она усталые старушечьи глаза на человека, если бы ты знал, как я люблю ее, какая она ласковая. Все, все готова отдать другим. Вот этот дом то ее и еще в улицу, как податься. Тот домик я выстроила для себя. Думала, как приедет Варенька с семьей, я и не буду их моей старостью беспокоить. Ну, а вот этот дом, — старушка показала рукой на дом рядом, был другой моей дочки. Замужем была она за чехом, жадный и командир в семье. Как случилась беда, надавил 17-й год, дочка с семьей и уехала, а дом велела беречь, и хранить. Ну пока можно было, берегла. А тут Люба Соломонова подвернулась, подольстилась, — «ах милая хорошая», и уговорила взять ее к себе. Уверила, что будет помогать мне. А потом оказалось, она замужняя. Пришел такой страшенный мясник, двое детей. Ну меня и выгнали. Глядя на ночь темную, — куда пойдешь? Самая близкая изба, — Пашкина. Пошла, ей рассказала, — она и говорит, — и не ходи и не жалуйся никому, он чекист. Упрячут в тюрьму, Сгноят. Ложись на лежанку, обогрейся. А я мокрехонька, как пес дворовый, вся дрожу. Ох, молила Господа Бога, чтобы прибрал меня!

Он слушал, крепко стиснув зубы.

— Почему вы не уехали к Вареньке, сам того не замечая, он ласково сказал это имя.

— Вот батюшка, тут и показали мои две дочки себя. Варенька пишет, что во всех консульствах хлопочет выезд мне. Молит, просит, через какую то акушерку, подругу жены Горького вывезти меня из этого ада. Пишет, — умоляю на коленях, брось все, приезжай, у меня всего хватит и на тебя и на меня. Я было собралась и доктор с женой обрадовались за меня, да другая дочка написала, — мама, очень рады тебя видеть, но лучше, если ты раньше продашь наш дом. А вышло то что я бездомная.

Человек почувствовал, что затылку от чего то стало больно, словно окоротили связки, а глаза застлала пелена. Он положил руку на плечо старушки.

— Бабушка вы ходить можете?

— Да как нибудь ходить могу.

— Имущество у вас есть какое нибудь?

— Да вот батюшка все на себе. Одеяло то Пашка забрала за житье у нее.

— Ну и ладно. Нас, бабушка живет в вашем доме четверо. Будете вы жить с нами. Мы статистики, будете нас кормить и разносить бумаги по присутственным местам.

У бабушки лицо просветлело и она сконфуженно сказала,-мне бы,батюшка,обувь какую-нибудь,я босиком.Ну что ж,буду разсыльным, а тебе за приют и ласку спасибо батюшка.

Цена $2.25

СКЛАД ИЗДАНИЯ: Mrs. Pavla Tetiukoff, 2 W. 67 St., NYC.

Printed in U.S.A. by Waldon Press Inc., 203 Wooster St. NYC.